

Николай Москвин

ДВА  
ДОЛГИХ  
ДНЯ

Г



НИКОЛАЙ МОСКВИН

ДВА  
ДОЛГИХ  
ДНЯ

Повести и рассказы

---

Советский писатель  
Москва — 1961

# ПОВЕСТИ



---

## ДВА ДОЛГИХ ДНЯ

### Глава первая

#### ВНИЗУ

##### 1

**В** следственных материалах по делу Зыкова П. С. ничего не было сказано об Ужухове, и он сам, по понятным причинам, нигде не упоминал Зыкова. И только много позже, когда события пришли к концу, Ужухов рассказал, что первые сведения о фартовом сламе на станции М. он узнал от Зыкова. Они собирались работать вместе, но Зыков неожиданно — за одно из прошлых дел — погорел, и Ужухов стал действовать один.

Девятнадцатого августа утром он отправился с дачным поездом на станцию М.

Ужухов ехал без всего, ехал пока в разведку; поэтому он чувствовал себя, как все пассажиры, — скучновато, вяло, бездельно. Сперва ел мороженое, вытирая липкие пальцы о черные старые штаны; потом курил в тамбуре, поплеывая в открытую дверь вагона; затем, вернувшись на место, сонно смотрел в окно, как бегут подмосковные леса, кустарники, столбы, дачки... Вот на насыпи промелькнул мальчишка в розовой рубаше с удочкой в руках... Когда-то и он этим

играл-баловался. Но недолго — война оторвала от детства, от школы, отправила из деревни в город к тетке Глаше. Думали, тетка как тетка, а особая оказалась!.. Эх, Аграфена Агафоновна, большую науку вы дали! Такому распрекрасному научили, что благодари, проклятую, в ноги падай, а все должок останется...

Опять пошел курить в тамбур. Дверь в соседний вагон была закрыта, и в верхней стеклянной половине ее он отразился, как в зеркале, — коренастый, с широкой шеей, с короткими руками. Вынул красный гребень и, сделав на минуту озабоченное и как бы значительное лицо — что делает каждый при причесывании, пригладил перед стеклом волосы. Но только поднес руку, чтоб и ворот на голубой рубашке поправить, как все исчезло — дверь со стеклом откатилась влево, и вошел чернобровый худошавый контролер с литыми тяжелыми щипцами в руках. И все вместе — и то, что зеркало он откатил, и то, что казенные ненавистные канты на его фуражке, на обшлагах...

— Явление пятое! — Ужухов зло хмыкнул, скривил губы. — Те же и Ефим с балалайкой!

И неохотно уступил контролеру дорогу.

— Граждане, предъявите билеты! — не отзываясь на вызов, возгласил этот, с кантами, и своей машинкой-щипцами пробив билет, спокойно прошел в вагон.

— Ходят тут!..

Это уж ему в спину, ни к чему, от бессилия... И вдруг позади:

— Контролеры настоящего юмора не понимают...

Обернулся и увидел, что в тамбур из соседнего вагона через ту же дверь вошел, виляя телом, какой-то шкет в голубых брюках не толще самоварной трубы. Ужухов не любил эту публику: сидят они по ресторанам, разъезжают с девчонками на машинах, бросают деньги туда-сюда, а в колонию ни один не попадет — деньги-то у дармоедов папенькины!.. Но было с этими вихлявыми что-то и общее, родное — тоже понимают толк в легкой, фартовой жизни... Это-то, может, и злило.

— Ты чего?— угрожающе спросил Ужухов, подступая и напрягая подбородок, отчего лицо становилось квадратным.

— Я ничего...

Видно было, что пижон струхнул. С толстого, с сиреневыми подглазниками лица сошла снисходительная улыбка. И руку с золотыми часами приподнял, будто защищаясь.

— То-то...

И Ужухов ушел опять в вагон на свое место. Снова в окне — леса, кустарники, дачки. Чего вспылит — и сам не знал. Наверное, от контролерских кантов, — хоть и другие они, а насмотрелся за пять лет на это казенное украшение! Но перед глазами почему-то маячили и золотые часы вихлявого... Самое лучшее, конечно, не бить, а р а з у т ь б ы милого! Как тогда...

И под шум поезда, под мелькание за окном вспомнил первые дни после амнистии. Первая работа на заводе, первые дружки по цеху и самое большое, самое прекрасное: хочу — туда еду, хочу — сюда иду, ни ограды, ни оклика — свобода... И дальше бы так — жить да жить... Да вот в одно воскресенье тоже вагон электрички, но полный, тесный — люди в тамбуре за косяки двери держатся. Тот тогда тоже за косяк — нога тут, рука тут, а сам за дверью на встречном ветру. Так бы все и обошлось, да вел себя к а р а с ь нахально, подвинуться, видите ли, требовал — рука будто бы затекла, что за косяк держалась. Нет, конечно, не это, а то, что на этой самой натуженной, наполовину заголенной руке прямо перед глазами Ужухова — золотые часы на красивом коричневом ремешочке... И так ловко — кругом-то одни спины, все лицом в вагон стоят... Так и взял. Взял в открытую, только глазами в парня вколосся, как бы — выби-рай: или не мешай мне, или лети под откос. Ведь стоит только чуть-чуть пальчики твои от косяка оттянуть — и кувырком на тот свет...

Мальчишкой еще плакат видел: стоит какой-то окосевший дядя с рюмкой, а под ним подпись: «Первую рюмку ты берешь, вторая — тебя хватает». Так и здесь получилось. На завод явился и так разнюнился,

что даже решил часы и не загонять и себе не оставлять, но вскорости встретил Зыкова и «вторая» ухватила... Тот так расписал доходную дачку, что голова закружилась,— и легко и много... И вот Петьки Зыкова уже нет, одному надо действовать, а «вторая» не отпускает. Вот посадила на поезд, велела ехать...

## 2

Ужухов обошел дачу Пузыревских и слева и справа. Все сходилось с тем, что говорил Зыков. Дача стоит на отлете, последней в ряду, и к ней два подхода: слева — узким, только разойтись, переулком, ведущим к колодцу, и второй подход — справа, со стороны жиденькой рощицы, за которой шло строительство уже новых дач.

Начал с этого подхода. Несколько раз кругами, смотря в землю, будто ища грибы или запоздалую землянику, прошелся по роще. То хворостиной, то ногой шевелил траву; то шел, то присаживался... Конечно, ничего, кроме окурков и бумажек, в этой истоптанной рощице не было; скашивая глаза, разглядел у Пузыревских обычную дачную дурь: беззащитные окна первого этажа, чуть живая дверь на веранду и пудовые замки и засовы на черном, но который на дачах считают главным входом...

Сейчас занимало не это. По зыковскому плану, вся надежда была на старуху — мать самого Пузыревского, обычно не выходящую из дома. К ней же надо идти не как до м у ш н и к — через щель, а в открытую, не таясь, ибо она должна показать, где лежит то, за чем он придет. Но когда идти? Когда она будет одна — вот в чем дело...

На станции прокричал паровоз, и долго было слышно, как за дачами, за лесом бежали перестукивая товарные вагоны. Потом, видимо навстречу, с ровным гулом прошла электричка... Дурацкое это дело — смотреть с улицы на дом: ты никого не видишь, а из темных окон, может быть, за тобой следят — какие такие грибы-ягоды ищет дядя в захоженной, затоптанной роще...



Ужухов посмотрел на солнце и, будто собираясь уходить, отряхнул у колен штаны, огляделся и пошел в сторону новых строящихся дач. Так-то оно и лучше: если за ним в окно следили, то примут за плотника или печника, который приходил со строительства в обеденный перерыв.

По глубоким колеям, оставшимся, видимо, с весны, когда возили тут лес, он вышел к срубам, около которых было светло, желто. От лежащей вокруг щепы пахло смолой. Трое рабочих около ближайшего сруба, несмотря на летний день одетые в ватники, сосновыми колами выкатывали из кучи толстое бревно. Ужухов отошел в сторону, лег в тень куста и закурил... Нет, надо на дачку еще с другого подхода, от колодца, взглянуть. Но не сейчас, а обождав. А еще лучше, чтобы на глаза не попадаться, зайти к колодцу со стороны закуской, то есть в тыл дачи. Только вспомнил это заведение, почувствовал голод: «Ну вот и хорошо — по дороге закушу». Бросил папиросу, поднялся, но тут его окликнули:

— Эй, орел, не подсобишь ли?

Эти трое в ватниках все возились с бревном, не могли его выкрутить из кучи. Что ж — подошел.

— Ты возьми вон кол! — сказал один из плотников с толстыми добрыми щеками. — Нашего четвертого нет, пошел за водой, да, наверное, не ту воду выпил, а с белой головкой.

Двое других не отозвались на шутку, только, придерживая свои сосновые колы, как-то мечтательно посмотрели в сторону станции. Кол, который взял Ужухов, был весь в тонкой и шелушащейся золотой пленке, покрывавшей кору, она даже чуть звенела в ладонях. Вчетвером, натужась, они вывернули толстое, длинное, семивершковое бревно и теми же колами-рычагами покатали его по следам к срубу.

— Налево кантуй! Налево! — услышал Ужухов позади себя окрик.

Оглянулся и заметил рядом черноусого в белом фартуке плотника — красавца, как на плакатах рисуют. По тому, что он в руке держал цинковое ведро с водой, Ужухов догадался — это пришел тот, четвер-

тый. Что ж, он тут будет стоять да командовать, а ты за него работай!..

— Нет, дядя с усами, ты уж сам тут кантуй! — ухмыляясь сказал Ужухов, передавая ему кол и отходя. — А у меня тоже дела есть.

Вытерев руки, к которым пристала золотая пленка, о штаны, он зашагал к закусочной. Да, у него тоже дела есть...

### 3

Он и раньше за собой замечал: о каком-нибудь пустяке долго соображает. В сельской школе, когда учился, его тугодумом звали, с годами он, конечно, бойчее стал — такая жизнь была, что очень-то не зазеваешься, — однако время от времени маху давал... Вот и теперь: зачем этим плотникам на глаза показывался! Пройти бы мимо — и все. А тут ворочал с ними бревна — могли в лицо запомнить... Мерещился даже какой-то будущий день: «Вы этого человека видели неподалеку от дачи Пузыревских?» И тот, красавчик с плаката, — почему-то представлялся именно он — отвечает: «Да, товарищ следовательно, этого самого».

Это натолкнуло на мысль в закусочную не заходить. Ведь Серафима, которая на даче Пузыревских была домработницей, теперь, с этой весны, работала в закусочной судомойкой... Знаком с ней был не он, а Зыков, и не ему, а Зыкову она рассказывала, что хозяева «богато живут, а еще больше от глаз хоропят». Видел эту Серафиму только раз и мельком, но бабы памятьливы.

Вернувшись к станции, прошел мимо закусочной, повернул вправо, к рыночной площади, и тут, оглядевшись, заметил врезанный в голубой забор ларек с пивом.

На мокрую и грязную доску перед окошком ларька положил смятую в кармане булку, потребовал кружку пива и два кубика плавленого сыра. Толстым пальцем с коротким ногтем осторожно снимал серебряную кожуру, но она плохо поддавалась, и на сыре от пальцев оставались темные следы. Освободив от

обертки, положил сыр на ту же осклизлую доску-подоконник. Он был не брезглив, но теток, процветающих на пивной пене, не любил.

— Вытирать, мамаша, тут нужно! — сказал он. — Как в хлеву!.. Да и то в теперешних хлевах, говорят, чище!

Молодая, но раздобревшая женщина, нагнув голову, чуть высунулась из своего окошка, и он увидел голубые, пустые, привыкшие ко всему глаза. Потом в окошко нехотя просунулась рука с мокрой тряпкой, поелозила по доске — Ужухов на минутку приподнял свой сыр и булку — и скрылась.

«Не Серафима ли это?»

Было что-то похожее в лице. «Может, ларек от закуской работает?..» Но отогнал мысль — пуганая ворона и куста боится. Ведь если бы это была она и она его узнала, то спросила бы про Зыкова — ведь любовь крутили...

Расплатился и пошел к даче Пузыревских, но уже другой дорогой, забирая влево, чтобы незаметно выйти к тыльной стороне дачи, где был ход к колодцу.

Солнце шло за полдень, тени все еще были укорочены, и везде было жарко. Но на дачах, мимо которых проходил Ужухов, жизнь продолжалась: по участкам бегали дети; женщины подвязывали на клумбах цветы, копались на грядках; мужчины, развалившись в гамаках, читали газеты, один сдуру, несмотря на жару, подтягивался и кувыркался на самодельном турнике...

«Делать нечего — воздухом дышать приехали!»

Ужухов кривил губы — нет, достанься ему такое добро, он бы траву ниточкой не подвязывал и не таскался бы за город, чтоб воздухом дышать — будто его и в городе мало, — а совсем по-другому распорядился. Не жизнь у него, а игрушка была бы...

Только одну хозяйку он одобрил: какая-то высокая худощавая старуха рогатинами подпирала тяжелые, полные плодов, ветки яблони. Здоровые, в кулак, августовские яблоки уже просились упасть, да пусть еще повисят, пусть еще поболее нальются. Ужу-

хов окинул взглядом это дерево и другие деревья в саду — такие же полные и тяжелые.

«Вот эта бабушка мозгами шевелит! Даже если плохо-плохо по рублю за яблочко, то столько загребет!..»



Показалась желтая дача Пузыревских. Ужухов пошел медленно, всматриваясь в дачу, а когда свернул влево, в узкий проход, ведущий к колодцу, то все косился на нее. И вел взглядом по низу дачи, будто подрезал ее.

Так и есть! В дощатой обшивке подполья с этой стороны дома была не замеченная им ранее низкая дверца на щеколде, ведущая в подпол. Ужухов сразу представил, что именно в этих потёмках: кирпичные столбы, держащие на себе дачу, между ними — стоящее на земле основание печи. Вот и все, если не считать всякого хлама, вроде лопат, граблей, старых лукошек и корзин, которые обычно сюда забрасывают...

С веранды послышался шум.

«Вот и живые!»

По ступенькам легкой походкой сошла невысокая, лет тридцати пяти, худенькая женщина в белом платье. В одной ее руке был плетеный стул, в другой — книга. Ужухов затаился.

Не полагаясь на быстрое соображение, он, еще идя от пивного ларька, подумал о том, что, может быть, придется постоять у дачи. Но не дуриком, конечно, пяля всю глазу! Навели на мысль глинистые, не просохшие еще от ночного дождя тропинки и дорожки.

Он поднял с земли щепочку и, прислонясь к дереву, стал не торопясь соскабливать приставшую к подметке рыжую глину.

...Женщина, устроившись в тени дерева, читала, держа книгу на отлете, и Ужухову казалось, что она больше всех других дачников выставляется: те хоть в цветах копошатся или на турнике крутятся, а я вот, смотрите, совсем ничего не делаю — читаю... Его все-

гда воротило от этих читальщиков: едут в метро — читают, едут в поезде — опять нос в бумагу. А что толку! Уж если есть у тебя свободное время — поспи или закуси...

Да и сама она ему не понравилась — с лица ничего, а так поглядеть не на что... Тонкая как струнка...

Почистив щепкой один ботинок, Ужухов поднял другую ногу. Женщина все читала, в доме была тишина; из-под веранды выскочил петух и, пригнув голову, погнался за курицей; ветер пошевеливал пару лилового белья, висящего на веревке... Ужухов обчистил и второй ботинок, а из дома больше никто не показывался. Тут со стороны соседней дачи послышалось повизгиванье ведерных дужек — кто-то шел к колодцу. Ужухов бросил щепку и хотел поскорее уйти, но потом спохватился: а зачем, разве кто догадывается, почему он тут? И прежде чем уйти, не спеша, поворачивая ступню то левым, то правым боком, вытер ноги о траву. Тут открылось одно из окошек дачи Пузыревских, и кто-то крикнул:

— Пышено где? Куда переложила?

Скосив глаза, Ужухов увидел в окне старуху с серым лицом, с обвисшими щеками.

— В шкафике, мама, внизу, — ответила женщина, посмотрев поверх книги.

«Она!» — подумал он, и что-то смутное, тревожное, которое будет впереди, представилось сейчас. И он понял, что все это время, пока орудовал щепочкой, ждал не кого-нибудь, а ее, эту старуху...

И, идя к станции, все почему-то повторял про себя — без смысла, без толку: «Пышено где, пышено где...» На станции — тоже ни к чему — подумал: «Кашу варят... По их средствам можно было бы чего повкуснее...»

\* \* \*

На станцию М. к желтой даче он ездил и еще раз. Все подтвердилось, что говорил Зыков: Пузыревских трое, квартирантов нет, собак не держат. Видел самого — мужчина рослый, осанистый, однако барина из себя не корчит: он и с лопатой в огороде, и с вед-

рами на колодец, и топором калитку осаживал. Впрочем, его тогда не будет... А она, понятно, сырая, рыхлая — такую только припугни...

И по фундаменту, по подполью еще раз глазами прошел. Заметных щелей не было, а если глядеть с той стороны — из темноты, то, конечно, найдутся. Кроме того, и из самой дверцы будет видна калитка: кто ушел, кто пришел.

И пока шупал все это глазами, примеривался, вдруг увидел себя уже лежащим там, за низкой дощатой дверце, под полом. Над головой ходят, пыль сыплется... А когда все кончится — ищи-свищи! — согнувшись в три погибели, сюда влезет агент, обнюхает и скажет: «Лежка была». Как у тюленя или медведя! И начнет шуровать вокруг — огрызки, обкуски, обрывки с земли поднимать. Нет, милый, не надейся — ничего не оставляю...

И Ужухов стал готовиться.

## *Глава вторая*

### *НАВЕРХУ*

#### **1**

Есть семьи, на которых соседи смотрят и не нарадуются, — как хорошо, как счастливо люди живут.

И верно: муж занимает приличную должность, вовремя возвращается с работы; жена всегда дома, хлопочет по хозяйству, приветлива, хорошо одета... Кроме того, небольшая, но собственная дача, «Волга», холодильник, телевизор, осенью ездят на юг... Живут люди, как говорится, в свое удовольствие. Да еще бабушка — мать мужа — и помощница по хозяйству, и домохранительница, и у самовара — добрая уютная улыбка.

Такой счастливой семьей и были для соседей Пузыревские.

Но только для соседей.

Брак Федора Трофимовича с Надеждой Львовной

можно было бы назвать удивительным и непонятным, если бы не было объяснений к нему. Он совершился в тяжелую годину войны, когда нормальная жизнь была нарушена. Как в это нарушенное, необычное время люди, не найдя сахара, покупали сахарин, не найдя материи, шили платья и штаны из штор и миллиардного сукна, так порой и браки в это время совершались не по влечению сердца, а из-за других, более, так сказать, существенных, настоятельных соображений.

Федор Трофимович и Надежда Львовна встретились в сорок первом году в эвакуации в городе К.

Он заведовал клубом на одном подмосковном заводе и вместе с ним переехал сюда, на восток. Город К. был уже переполнен. Эвакуированный завод разместился в недостроенном театре, клубу же не нашлось места, и Федор Трофимович носился по городу в поисках хоть какого-нибудь помещения. Так он набежал на местный Дом печати.

В двух нижних этажах холодного, неотапливаемого дома, согреваясь печурками, ворочались типография и редакция одной эвакуированной газеты, а верхний этаж со зрительным залом и клубными комнатами стоял продрогший, заиндевелый. Вот на него-то и нацелился Федор Трофимович — раз пустует, надо взять. Он расхаживал по промерзшему, как бы чугунному, паркету зала и качал головой: взять-то взять, а что с ним потом делать? Неспущенная вода в отопительных батареях замерзла и порвала трубы. Если все менять, чинить, то и зима пройдет...

Пока ходил по студеному залу, раздумывал, постукивал по окаменевшему отоплению, продрог больше, чем на улице. И вдруг толкнул какую-то дверцу — и сразу теплым-тепло.

— Вот благодать-то!.. — невольно воскликнул он.

Это была библиотека — полки с книгами, и две женщины около чугунной, пышущей жаром печки.

— Закрывайте! Закрывайте! Откуда вы пришли?

И библиотекарьши — одна пожилая, другая молоденькая — замахали на него руками, будто он открыл дверь на улицу. Они объяснили, что эта дверь

закрыта, что в библиотеку надо входить по другой лестнице. Оглядели вошедшего — человека молодого, но дородного, в белых с отворотами дорогих бурках, которые любили носить хозяйственники, — и у них появилось на лицах озабоченно-просительное выражение: может быть, это новый комендант, администратор, директор, у которого можно что-нибудь попросить для библиотеки, зимующей, как на полюсе, среди необитаемых просторов третьего этажа.

Но нет, оказалось, к Дому вошедший не имеет отношения и — наоборот — сам хочет что-то попросить.

Федор Трофимович рассказал о бедственном положении завода: бог с ними, с хоровыми, шахматными и прочими кружками, с балалайками и плясками, — на время войны можно с этим подождать, но вот рабочим негде собраться, чтобы о труде, о производстве потолковать. И он сам тоже хорош: завклубом без клуба...

И то ли откровенность Федора Трофимовича, то ли добрая женская жалость, но библиотекари приняли к сердцу его положение, стали обсуждать, советовать. Особенно молоденькая, тоненькая — пожилая звала ее Надей.

— А что, если вам печки, как у нас, по залу расставить? — говорила она. — Может, и четырех хватит?

— Ну что вы!

Федор Трофимович вспомнил, какой белоколонный был зал в их подмосковном клубе, и вдруг эти простецкие, барачные печки!

— Ну тогда электрические плитки. Много-много...

Тут уж и старая библиотекариша рассмеялась: эти-ми-то крошками да прогреть такой залище! И Надя, и Федор Трофимович тоже улыбнулись. В общем оживлении она посмотрела на него как-то особо — не то кокетливо, не то пристально. Секунда какая-нибудь, а Федор вдруг почувствовал себя легко, хорошо.

За шкафами слышались голоса — пришли посетители, и Надя пошла к ним.

...Через день он опять пришел в холодный зал. Расхаживал в своих белых бурках из конца в конец,



мерял зал шагами. А что, действительно, по углам поставить четыре печки, как она говорила! Дымоходные трубы на заводе в пять минут сколотят, а вот куда их вывести наружу, чтоб поменьше этого украшения в зале было... И он расхаживал, мерял. Он расхаживал, мерял и все ждал, что шаги его будут услышаны, откроется дверь в теплым-тепло, и тут же возглас: «Ах, это вы!» И тот же взгляд, улыбка...

Но дверь не открывалась, и Федор, потоптавшись, сделав на лице озабоченно-деловое выражение, сам открыл ее. Извинившись, что опять пришел не с того хода, он сказал:

— А я, знаете, все же решил хлопотать об этом зале. Может, и в самом деле, если печки поставить...

Пришел он очень удачно: у Нади кончилась работа, она уже была в синей шубке и в черной маленькой меховой шапочке — будто девочка-школьница. Вышли из Дома вместе.

По дороге разговорились. Нет, оказалось, совсем не школьница (и не Надя, а Надежда Львовна), сама преподает историю, но война раскидала учеников, и вот — в библиотеке. Отец на фронте, приехала в К. с матерью и хоть одиноко без папы, хоть живут, как эвакуированные, за занавеской, все же не унывают, по вечерам собираются московские и местные знакомые и — стыдно сказать — заводят патефон, играют в шарады...

Он тоже о себе рассказал. Несмотря на свои двадцать девять лет, чем он только не занимался! Был и электромонтером, и завгаражом, и работал по мясохолодильному делу, был и по хозяйственной части в одном театре.

— Теперь вот завклубом на большом заводе. Но все это не то! — добавил он. — Есть у меня одна думка, которая тянет...

Она деликатно не спросила, что это за думка, но выжидающе взглянула на него ясными, девичьими глазами. И когда он не ответил, она спросила про родных. Отца Федор смутно помнил — давно умер, а мать отправил в Ташкент к родственникам. И он заговорил о матери.

В своих франтоватых бурках он вышагивал рядом с ней по заснеженному, неубираемому тротуару, слушал, говорил сам, а думал о том, что вот сейчас, внезапно, будет ее дом, она уйдет, исчезнет, и он останется один на тротуаре...

Так и случилось. Надя протянула руку, поблагодарила и ушла в какое-то темное парадное.

## 2

Как все хорошо, по-человечески начиналось! Видимо, даже у разных натур зарождение любви одинаково, как при жажде вода для всех вода.

...Да, скрылась за темной дверью, но была исконная, освященная веками тропка: надо искать встреч.

Выручили те же печки — ее печки...

Сперва он думал принести в зал какое-нибудь железное и начать стучать, гроыхать — уж на шум-то эти затворницы откроют свою неоткрываемую дверь! Потом понял — просто одурел: зал еще не передан, а он уже тут грохает. Да потом какой разговор при старой библиотечарше! Нет, надо перехватить Надю на улице.

Узнав, когда она кончает в библиотеке работу, он выбрал против Дома печати — это оказалось окно аптеки — удобное место наблюдения. И как только она вышла из Дома, он к ней навстречу.

— А я, знаете, к вам шел... то есть в библиотеку. Хочу взглянуть, где дымоход от котельной проходит. Ведь тогда трубы от печек можно прямо в дымоход... Вы, Надежда Львовна, не знаете, случаем, котельная не в вашей секции?

Ну, конечно, она не знала, где котельная. Вздыхнув сожалительно — не очень уж сожалительно, он пошел рядом, объяснив, что потом вернется в Дом...

С этого дня они стали встречаться.

...Они стали встречаться, но Надя не придавала этому никакого значения. Она была недурна собой, неглупа, играла на рояле, много читала, и около нее

со школьных лет группировались и подруги и товарищи.

И сейчас, несмотря на эвакуацию, на жизнь в чужом городе, у Нади по вечерам собирались люди. Тут была и бывшая однокурсница по педагогическому институту, которая тоже очутилась в К., и новая знакомая по Дому печати, и молоденькая соседка по квартире. Были, конечно, и молодые люди — знакомые по работе или по долгой и хлопотной дороге из Москвы до К.

Собирались, говорили о войне, о прочитанных книгах, об увиденных спектаклях и фильмах, иногда заводили патефон или играли в шарады. Образовался тот обычно-интеллигентный уровень разговоров, споров, игр, отношений, когда люди стараются обнаружить ум, знания, тонкость понимания. Тут, понятно, не было никаких глубин и взлетов мысли, но установились те легкие, приятные отношения, когда люди понимают друг друга с полуслова.

И вот в эту компанию вступил Федор.

Когда говорили о «Петре Первом» Толстого, о Пристли, пьеса которого «Опасный поворот» появилась в канун войны, он, сидя на краю дивана, уже у занавески, помалкивал. То же самое было во время споров: какая жизнь будет после войны, какая разница между культурным и образованным человеком, вернется ли архитектура Корбюзье, есть ли объективное познание мира и так далее.

Федор слушал спорщиков молча, то внимательно — морща лоб, то поводя черной бровью — недоверчиво, то явно скучая — тогда брал в руки со стола какую-нибудь штуку и начинал ее развинчивать и свинчивать. Он делал вид, что все это ему уже известно, что где-то это уже отспорено, что истина уже установлена. Или же его взгляд говорил: «Да, это мне неизвестно, но я такой чепухи и знать не хочу! Для жизни это не имеет значения!»

Среди присутствующих он выделял двоих, явно ухаживающих за Надей: худого, длинного Чернышева, который говорил, что он заводской техник-конструктор, но больше всего распространялся о фило-

софии, о живописи, о каком-то импрессионизме; и Юру Кирюшина — белесенького, жидкого, в большом количестве (даже нагоняя сон) читавшего наизусть стихи. Служил он у одного важного лица референтом. Что это значит, Федор не знал, но видел, что должностью своей Кирюшин задается.

Неизвестно, как бы пошли отношения между устройтелем печек в холодном зале и хранительницей книг в Доме печати, если бы не эти личности, вставшие на пути. Нельзя сказать, что Федор Трофимович любил препятствия, но он был самолюбив, завистлив, и если он видел, что кто-то чего-то добивается, то, во-первых, начинал верить — это желаемое действительно ценно и стоит того, чтобы его добивались; а во-вторых, у него тотчас появлялась охота растолкать всех локтями и прийти первым.

Так он решил действовать и тут. Но как?

Он видел, что Надя внимала и этому самому импрессионизму, и стихам, которые нагоняли сон, и это ему было не по плечу. Он не только никакого Корбюзье не знал, но однажды в разговоре так легко и просто сболтнул «про́цент» и «мага́зин», что этот белесенький, хлюпенький Кирюшин взглянул на него с обидным любопытством.

Тогда он стал действовать по способу пылких влюбленных: раньше приходил, позже всех уходил, говорил о чувстве, которое... В эти часы он был один, и Надя невольно слушала только его. Однако слушала она плохо.

### 3

Да, слушала она его плохо. И, по правде сказать, не понимала, почему Федор Трофимович проявляет такое рвение. Правда, он ее несколько раз проводил до дому, она пригласила его заходить — вот и все. И в Москве так было заведено: ходят в дом разные люди, говорят, спорят, отправляются ватагой в кино или на каток. Может быть, кто-то нравится или кто-то ухаживает, но все это как-то не по-серьезному — больше просто товарищеские отношения...

Но Елена Николаевна, мать Нади, которая тихой

мышкой, неслышно присутствовала при их сборищах, сказала как-то:

— Этот вот крупный, в бурках... ну, Федор... я чувствую, имеет какие-то виды.

...И был день, который Надя потом не раз вспоминала. Компанией шли из кино. Федор Трофимович говорил громко, махал руками — у него была новость: зал в Доме печати, несмотря на хлопоты, ему не дали (сами печатники решили вдохнуть в него жизнь), но вдруг на набережной он отыскал какой-то барак, который до войны не успели сломать. Тут уж никто не будет препятствовать — стучи, наколачивай.

По тому, что Федор был оживлен, все взоры были обращены на него. И ее — тоже.

И тут Надя вспомнила мамино «имеет виды». Она мысленно представила, что вдруг не кто другой, а именно вот этот человек будет ее мужем... Это было так дико, нелепо, да нет — ужасно, что ее даже передернуло. Будто до чего-то дотронулась.

— Ты что? — спросила идущая рядом подруга. — Озябла?

— Да, как-то... — И Надя поежилась не то от этого, не то от холода.

Казалось бы: почему же? Он был человек как человек — статен, румян, даже красив. Но хотя между встречей в библиотеке («Закрывайте дверь! Закрывайте! Откуда вы пришли?») и маминым «имеет виды» прошло немного времени, Надя почувствовала главное: чужой. Бог с ними, с Корбюзье и стихами, но и все остальное, что ей было родным, близким и понятным с полуслова, ему надо было растолковывать. И она как-то — с неловкостью, даже с обидой за Федора Трофимовича — сравнила это с роялем, где вместо струн были бы натянуты пеньковые веревки, которые здорово надо дергать, чтобы они издали звук.



У натур деятельных, как у Федора, всякая неудача, задержка вызывают еще большее стремление достигнуть цели. Сама же цель — как обычно бы-

вает в этих случаях — становится еще более желанной.

Но тут Федор не знал, что делать. Он видел, что его ранние приходы и поздние уходы, его объяснения ничего не приносят. Надя была с ним любезна, но явно скучала.

Но как-то все случилось само собой.

...Однажды Надя подошла к большому дивану, где обычно располагались все пришедшие, и сказала:

— Пойдемте к столу... Будет чай! Можете себе представить!

Да, это было удивительно. В город К. перед войной завезли огромное количество натурального кофе, и его пили и так и сяк, а чай не продавали даже по карточкам. Кроме того, на столе было великолепное угощение: ломтики черного хлеба, поджаренного на хлопковом масле.

Однако, когда все сели за стол, электрическая плитка, на которой вскипал чайник, вспыхнув и озарив голубое дно чайника, потухла.

Тихая мышка — Елена Николаевна — вынула из седых волос шпильку и где-то, в известном ей месте, попридержала потемневшую спираль. Из-под шпильки вылетела зеленая искра, и спираль покраснелась, засветилась. Однако тут же и опять потухла. Как дальше старушка ни орудовала шпилькой, плитка не зажигалась. Кто-то из гостей предложил встряхнуть плитку.

— А мне говорили, что надо карандашом, — сказал Кирюшин. — Графит... не проводит ток. Позвольте, я...

Он бойко всунул острый карандаш в спираль, она заалела — все обрадовались, — но когда он хотел вынуть карандаш, спираль зажала графит, и Кирюшин выхватил ее из плитки. Извиваясь, как живая, спираль по-змеиному вертела из стороны в сторону острый конец — кого бы укусить. Все подались назад. Кирюшин отскочил, перевернув стул.

— Минуточку! Минуточку!

Федор не спеша подошел к розетке, вынул штепсель и подхватил тряпкой безопасную теперь спираль.

Дав ей остынуть, он соединил спираль с контактом и быстро разложил ее в круговые прорези плитки. Воткнул штепсель, и плитка загорелась ровным, спокойным светом.

Чайник докипел, и все сели за стол.

Как-то Надя закрывала, досадливо пристукивала форточку, а та — подлая — все отходила. Решила, что она набухла, и оставила ее в покое. Подошел Федор, провел пальцем — только пальцем — по форточному просвету, сбросил тонкие льдышки, и форточка закрылась. В другой раз спросил у Елены Николаевны, нет ли у нее талонов на водку, — у них на заводе такую знатную дают. И верно: принес зеленый армянский «Тархун», который на базаре особенно ценился. А то однажды по-простому взял да дров наколол. Пришел засветло и отмахал поленьев тридцать...

Потом то, потом это, — в доме все время требовались умелые руки. И пошло: «Федор Трофимович, вы не могли бы...» Или: «Федор Трофимович, вы не сделали бы...» И он мог, и он делал.

Уехал как-то на неделю в район — тес для клуба принимать, — так в доме все разладилось: вместо сливочного масла получили по карточкам какой-то неаппетитный комбигир; у знаменитого дивана, где все собирались, треснула и стала отходить спинка, и туда теперь заваливалась всякая мелочь; покрепчали морозы, из-под пола стало дуть; смешно сказать — у Нади в самых лучших туфлях вылез на пятке гвоздь, и никак и ничем его, противного, нельзя было забить...

А приехал Федор через неделю, словно спаситель явился! И масло, и диван, и пол, и все другое... Ну и, конечно, несносный гвоздь — одним махом.

Эффектнее всего с диваном получилось. В один из вечеров философы, как обычно, сидели на диване (только неслышная Елена Николаевна мимоходным шепотом: «На спинку не очень, не очень! Трещит!») и рассуждали о своих «быть или не быть». И вдруг дверь открывается и — Федор Трофимович, неделю отсутствовавший... После всяких расспросов и спросов — сюда же, на диван, к занавеске. И опять в без-

вестность, в молчание — слушать, что умные люди говорят. А они действительно о мудренном заговорили. Худой угрюмый Чернышев доказывал, что, несмотря на то, что «Поэтике» Аристотеля двадцать два века, она жива до сих пор; Кирюшин же, размахивая бледными руками, говорил, что она уже «не звучит»...

Кирюшин был немощен и легок телом, но в споре преображался: вскидывал подбородок и жесты — решительные, смелые. И вот тут тоже: вскочил, оперся картинно на спинку дивана и только собрался пуститься во мрак двадцати двух веков, как раздался треск.

— О, господи! — воскликнула тихая Елена Николаевна и, борясь с вежливостью хозяйки, все же добавила: — Я же предупреждала!..

Тотчас все встали с дивана, и как-то само собой дальнейшее перешло к Федору Трофимовичу. Ему помогли отодвинуть диван, дали в руки молоток, гвозди. Федор присел на корточки.

— Тут уж кто-то вбивал! — сказал он, рассматривая низ спинки.

Ему объяснили, что в его отсутствие это пытались сделать и Кирюшин и Чернышев.

— Чудно! — Федор покачал головой. — Гвозди-то мимо прошли. И не здесь надо было...

И принялся за дело. Он командовал: держать, отпустить, подать, принять... Все помогали ему, слушались — Аристотель отправился обратно в глубь веков, а вот сейчас главным, нужным был человек с молотком в руках...

#### 4

В жизни Нади был день, когда она не могла даже представить себя женой Федора Трофимовича. И был другой день, когда этот первый день как-то забылся, отошел...

Самые неожиданные поступки могут иметь объяснения.

Надя, несмотря на свои двадцать лет, никого еще не любила, хотя некоторые ей и нравились. Она принадлежала к тому довольно распространенному типу



женщин, которых покоряет любовь к ним. Этому способствует многое: сознание, что ты кому-то нужна, неуверенность в том, что встретишь его, желание иметь семью, боязнь одиночества и, особенно, потребность любви. Вот поэтому ощущение «он меня любит» создает иллюзию чего-то настоящего, которым надо дорожить.

Так было и тут.

Пока Федор был в числе приятелей, по-мальчишески ухаживающих, Надя принимала это; когда же она мысленно представила, что он вдруг будет мужем,— ее ужаснуло, ибо она поняла, что он чужой ей. Казалось бы, все ясно — ничего не состоится.

Но Федор проявил упорство в своем стремлении, он продолжал твердить о своем чувстве и наконец сделал предложение. И тут вошло в действие упомянутое «он меня любит», и чужеродность Федора стала куда менее ощутимой — рояль с натянутыми веревками ей уже более не вспоминался. Она многое прощала, многое старалась не замечать, а то и просто не видела...

Но было и еще. Может быть, самое главное. Все подвиги Федора по бытоустройству — все эти простецкие плитки, форточки, диваны, «Тархуны», гвозди, дрова и так далее,— совершенные им в трудное время, в чужом городе, по-житейски, по-простому, говорили о том, что жизнь с Федором будет удобной, легкой — жизнью под крылом.

Возможно, это соображение не пришло бы к Наде, если бы было мирное время, если бы она жила дома, если бы дома был отец... Оно пришло еще и потому, что рядом — как бы для сравнения — находились два человека, тоже могущие стать спутниками жизни. Но какими? Ничего, кроме умных разговоров на диване. Это в теперешнее-то время!..

И будущая жизнь с Федором показалась Наде такой настоящей, основательной, именно той, которую женщина должна выбрать. Нет, у нее будет своя профессия, свой труд, но в случае непогоды еще и крыло — поддержка, помощь...

И брак совершился.

Федора точно живой водой sprysнуло. И так-то был работающий, а теперь, после женитьбы, такую деятельность развил, что будто ни войны, ни эвакуации, ни всяких карточек.

А начал с занавески. К чему этот ситцевый полог, отгораживающий комнату от прихожей! Нет, он делает по-настоящему — поставит перегородку. И верно: явились рабочие из клуба и за две буханки хлеба и четвертинку водки сколотили тесовую перегородку с дверью. Потом Федор принес несколько кусков бордовых обоев с большими зелеными розами и оклеил ими перегородку. Стало в комнате тише, уютнее, и Елена Николаевна с Надей — что женщины ужасно любят — стали переставлять в комнате: это теперь туда, а это теперь сюда... Только старушка косилась на обойные розы — они могли быть и помельче, и потом — почему зеленые, как капуста?

Затем Федор подкупил дров, достал по ордеру, за дешево, для Нади козью шубку, а как-то, сияя, принес вещь крайне редкостную в хозяйстве: примус со счетверенной горелкой, очень удобный для кипячения баков с бельем. Был примус не новый, достал его Федор у знакомого кладовщика на авиационном складе (такими примусами разогревают зимой авиамоторы) и два вечера, завесившись фартуком, чинил, паял его, пока он, не став на пол на свои черные коренастые ножки, не загудел всеми четырьмя горелками — мощно, величественно.

Елена Николаевна похаживала около этого счетверенного рычащего чуда, прижав руки к груди.

— Господи!.. Он нас тут всех спалит... Но для белья, конечно...— Она обернула к Федору лицо, полосато-голубое от бешеного пламени.— Помню, в Париже, я девушкой с папой ездила, видела на одной технической выставке модель действующего вулкана. Так страшно, помню, было...

Довольный, оживленный от своих забот о двух женщинах, видящий, что труды его нравятся, ценятся ими, Федор однажды — принести что-нибудь в дом

было для него сущим праздником — извлек из кармана кожаного пальто пузырек, отливающий перламутром. В нем оказалась разведенная золотая краска. Жесткой кисточкой он позолотил ручку у перегородочной двери, черные ножки у своего могучего примуса, шпингалеты на окнах...

Нет, это был совсем уж не Париж, и Елена Николаевна, вздохнув, переглянулась с дочерью. Федор уже намеревался провести золотой бордюрик вдоль подоконника, когда Надя остановила его:

— Не надо, Федя... Ну, понимаешь, не нужно...

Он обернулся к ней весь — рослый, голубоглазый, простодушный, с кисточкой в руке.

— Так ведь краска-то золотая! Красиво!..

...Этот день позолочения Надя потом, много лет спустя, часто вспоминала: тогда выручило милое женское всепрощение: «Ну так человека воспитали — вот и все!» Но было другое, о чем Надя не знала и которое тоже произошло в это время и, если вдуматься, было чем-то сродни позолоченным шпингалетам.

Дело в том, что тес, из которого была сделана перегородка, оказался особым. Он остался от клубного ремонта, и Федор взял его себе. Правда, было на душе как-то неловко, но ведь что же тут такого — никого не обидел... Но прошло время, и это стало разрастаться: из зернышка — росток, из ростка — листок...

...Да, года шли за годами, и давно было забыто и эвакуационное житье, и первые годы после войны, когда Федор, оставив невидное занятие — заведование клубом, исполнил свое давнишнее желание: перешел в торговую сеть.

Еще в первые дни знакомства с Надей, провожая ее от студеного Дома печати до комнатки за занавеской, он как-то сказал ей: «Думку одну имею». И вот думка эта осуществилась: две витрины, зеленая вывеска с белыми буквами «Фрукты-овощи», несколько продавцов, кассирша, ящики и полки с товаром, а позади всего — фанерный кабинетик с окошком, выходящим на двор.

Но и это тоже прошло. Желание исполнилось — стоял у торговой сети, — но, оказывается, не каждая сеть что-нибудь приносит. После фруктов и овощей дали заведовать минеральными водами (совсем уж пусто), за ними — тоже тихие — книги, бумага, всякая канцелярская снасть...

И вдруг — мебель! Кабинетик у заведующего, как ни странно, тоже фанерный и тоже с окошком на двор, но живой, шумный. Один пришел, другой ушел, один просит, другой обещает, третий уже спасибо говорит... Но оказалось, главное-то не здесь шло, а около всяких сервантов, шифоньеров, туалетов, гарнитуров... Вот там-то сеть была так сеть... А заведующему от продавцов, от грузчиков, в сущности, одна мелкая рыбешка доставалась. Не дело, не порядок, конечно, но к лучшему вышло — по прошествии времени на самих рыбаков сеть была заброшена, а заведующий уцелел, лишь перевели на другой товар — на головные уборы.

Место тихое, а если разобраться, то перевели Федора сюда в назидание и в наказание: интереса от торговли никакого, а хлопот и поношений сколько угодно! Еще бы — зимой на полках белые кепки и соломенные шляпы, а к лету наконец-то приходят меховые слежавшиеся ушанки с рыжими тесемками. От покупательской хулы хоть в подвал залезай! Одно только интересное дело и было, когда вдруг завезли меховые шапки под чудным названием «гоголь» — островерхие, вроде поповских камилавок. Тут уж публика не посмотрела, что май месяц, и начала их не только разбирать-расхватывать, но и про хулу и поношения забыла. Вот тут-то директору магазина кое-что перепало...

Но все же это было только раскачкой — настоящее дело засветилось, когда на степной прославленной целине, о которой тогда только и было разговора, открылись торговые вакансии. Поразмыслив, примерившись, как он оставит свои шапки-шляпки, жену и мать, Федор подал заявление, где, как и в тысяче других — чтобы походить на этих других! — стояло: трудностей не боюсь.

Какие уж там трудности! Сразу попал на хорошее место.

И опять на фрукты и овощи, с которых начинал свое служение в торговой сети. Но какие! Не тот, в две витрины, магазинчик, а здоровущий склад-база. Да еще вместе с бакалеей... И вот тут-то, на степных просторах, Федор Трофимович и развернулся. Вот тут-то думка его наконец-то по-настоящему, по-желанному исполнилась...

Но и это прошло. Однако чинно-благородно прошло, как пчела на щедром цветке: пьет-пьет мед, да уж полна, да уж вся набухла — пора и отвалиться подобру-поздорову...

И вот снова в Москве и на чистой, красивой работе — лисиц серебристых да соболей баргузинских продает. И все другое: и кабинет у директора просторный, с вазами, с коврами, и сам степенный, представительный, и дача под Москвой, и в гараже своя «Волга», да еще и нетронутое, запасенное лежит...

Но в семейных отношениях за это время были утраты. Мать Нади — Елена Николаевна — так и не вернулась из эвакуации, и дочь на чужом кладбище, в чужом городе, похоронила ее. Годом позже погиб на фронте отец. Надя совсем осиротела, и Федор, чтобы в доме была помощница, взял после войны свою мать — Марфу Васильевну — к себе.

...Вот к этому-то семейству и с благоденствием и с утратами в один августовский день и подошел Ужухов. Его не интересовало жизнеописание этих дачников, он знал только одно: оно здесь, оно затемнено, скрыто, и его дело — хорошо, легко в з я т ь...

### *Глава третья*

#### *ВНИЗУ*

#### **1**

Как показал Ужухов на следствии, план его был такой: пробраться в подпол дачи Пузыревских, затаяться и ждать, когда в доме останется одна стару-

ха. Только так, находясь в доме, а не маяча около него, что, конечно, вызвало бы подозрение, и можно было это сделать. Когда его спросили, почему он избрал именно старуху (М. В. Пузыревскую), Ужухов ответил:

— Сам-то хозяин больше в магазине, а на даче он только вечер и ночь. И в это время его одного не застанешь. Кроме того, если и случись это, то он мужчина здоровый, мог мне вполне и накидать... Я ведь пустой, без оружия шел... Если же взять дамочку ихнюю, то она не в счет. Как полагаю, останься я с ней один на один, ей мне и сказать-то нечего будет... А вот старуха, я рассчитал, должна была знать, где лежит то, за чем я пришел. Сын-то должен был кому-то довериться! А мама у него как раз подходящая...

Но это было потом, а сейчас, утром двадцать четвертого августа, Ужухов проснулся от режущей боли за ухом. Четыре найденных в подполе кирпича, которые он положил вчера ночью в изголовье, конечно, оказались не подушкой. Закрыв их краем одеяла, положил под ухо меховую шапку, и все же получилось не пух-перо. А потом и это съехало, и под утро лежал просто ухом и щекой на голом кирпиче...

Он, не проснувшись еще совсем, приподнялся, сел на землю и своей короткой с широкими ногтями рукой потер за ухом. Под пальцами что-то тонко, чуть слышно затрещало, и Ужухов, поднеся ладонь к глазам, увидел кусок пыльной паутины. Пыли на ней было так много, что на руке лежал как бы серый лоскут. Он вытер ладонь о свои черные штаны и хотел было встать — после сна тело просило подняться, — но голова коснулась потолка, и он остался сидеть. Отгоняя сон, Ужухов грубо — сплющив широкий нос — провел рукой по лицу. Поднял глаза и увидал над собой доски пола и сизую, в трещинах, балку, по которой взад и вперед нервно бегал разоренный, без своего серого шалаша-лоскута, паук.

«Ах, да!..»

И сон совсем отходит. Вспоминает поздний поезд,

путь по темным дачным улицам, закрипевшую калитку, согнутую — чуть не на четвереньках — неслышную пробежку до подполья...

Откуда-то сильно тянет керосином, и Ужухов оглядывается. Вот не думал, что в таком месте светло будет! Но в дощатой обшивке подполья то щель виднеется, то вон там доска отошла, а вот тут даже сквозь выбитый кругляшок сучка свет проходит... Ужухов подползает к кирпичному столбу фундамента и заглядывает за него. Нет, не за столбом, а вон у входа, у самой дверцы стоит бутыл с промасленной бумажной пробкой.

«Ничего, ничего!.. Наливают керосин, конечно, снаружи, а сюда только ставят».

И тут начинает прислушиваться к доскам, к балкам над головой — не проснулись ли обитатели. Первой, понятно, должна проснуться мамаша. Старухи спят мало, да, кроме того, — заметил по прошлым приездам — хозяйством больше занята она, чем невестка. Дамочка встанет попозже, а сам и того позднее, встанет на все готовое — только пей, ешь да езжай к одиннадцати часам в свой меховой магазин. А долго ли тут на «Волге» докатить!..

Посмотрел на часы: без двадцати семь. Опять глаза на доски над головой. Ни шагов, ни шума. Раз так, попусту ждать не нужно. Скрючившись, спасая голову от балок, заковылял на корточках к обшивочным доскам, где виднелись щели. Но они оказались не те, не подошли — видны отсюда клумба, часть забора, соседняя дача. Перебрался влево. Тут сквозь щель виднелись совсем уж задворки: гараж, ледник, тропинка до ветру...

«Чего полез сюда! Вправо надо!»

Взял поправее первых щелей, и верно. В круглую дырку, оставшуюся от выпавшего из доски сучка, была видна песочная дорожка, грядка белого табака у зеленой ограды, край клумбы. И вот она — калитка! Теперь только держи пост: кто ушел, кто пришел — все видно...

Оглядываясь — не потерять бы примеченную среди других щель, он на четвереньках пополз к своему

барахлу, захваченному на время лежки: старое байковое одеяло, мешок с харчами, меховая шапка, чтобы голова ночью не простыла. Прислушался — не встали ли — и перетащил все это к дозорному глазку в доске.

...Бывает так, что миг повторяется. Уложил, умял свои пожитки, чтобы не мешали, и только прильнул к светлому кружку, как увидел: мимо зеленой решетчатой ограды идет высокая женщина в черном надвинутом на лоб платке... Ну прямо тетка Аграфена Агафоновна! Даже вон на палку по-теткиному опирается... Одно не то — Аграфена посытнее, покруглее телом была. И вот возник, повторился из прошлого денек, минута, миг: Аграфена — как вот сейчас эта — шла к дому, шла, ничего не чуя, а он, двенадцатилетний Васька Ужухов, тоже, как и теперь, сидел, затаясь, и тоже, как теперь, прильнув к круглой из-под сучка дырке в сарае, должен был высмотреть тетку и предупредить: в доме идет обыск...

Ах, Аграфена Агафоновна, шмара бесценная, не родиться бы тебе, паскуде! Утонуть бы тебе, милой, золотой, в поганой яме — чтобы ни вздоха, ни пузырьков...

С нее началось... Ехал мальчонка из деревни в город на простое пропитание, а попал в такую малину, что по военному тогда времени и во сне не снилось, — всем залейся, всем завались!.. И все тетечка-хлеборезка. И пусть бы уж сама крохи в подол собирала, но и племянника к делу приставила, и толстомордого кладовщика Семена, который и в котах при ней ходил, и хлебные крохи-пудики на базаре спускал... Небольшое дело — хлеб, а тетечку, как на дрожжах, разнесло: и отрезы, и золотые кольца, и часы... Разнести разнесло, а сама черный платок на глаза, клюку в руку — ну, монашка, постная душа, хоть копейку ей подавай...

И подали ей. И Семену тоже... «Черного в о р о н а» подали. Отсидела свое, вернулась, а племянник времени не терял — катился, куда его толкнули. А ей это в масть: готовый помощничек — почище пропавшего, невернувшегося Семена оказался.



Был мальчишка на побегушках, а теперь уж своя хватка, свой глаз. И по любви вместо Семена его приспособила. Оно, конечно, грешно — родная кровь, — да ведь апрельский молоденький огурчик кому не в сласть...

И второй раз «ч е р н ы й в о р о н» двоих увез. Тетечка, как на богомолье, на знакомые места, на знакомых людей поехала, а племянника-огурчика с вольной грядки в первый каменный засол пустили — лежи да поглядывай на распрекрасную решетку...

## 2

Где-то на конце половиц слышались шаги, и Ужухов взглянул на часы: половина восьмого.

«Старуха встала... День начинается».

Шаги то приближались, то удалялись. Потом раздались над самой головой — даже выбилась пыль из щелей между половицами. Подпольный постоялец отмахнулся от нее, как от папиросного дыма.

«На террасе накрывает».

И верно: старуха сносила все сюда, на террасу, под которой находился Ужухов. Стукала посуда, позвякивали ложечки, фырчали отодвигаемые стулья. Из дальних комнат глухо доносились какие-то другие шаги и постукивания.

«Сами поднялись».

На террасе же минуту-две стояла тишина, потом, приближаясь, слышался грузный — на пятках — топот. В неверном свете подполья было видно, как еще издали, и тоже приближаясь, стали из-под этих увесистых пяток падать от половиц на землю белесые столбики пыли — все ближе и ближе. Ужухов подумал: «Не сам ли идет!», но шаги мелкие, торопливые, так могла идти только женщина с тяжестью в руках. И верно: над головой вдруг ухаает, стучает металл о металл, а обратные шаги — легкие, обыкновенные, те самые, которые первыми были.

«Старуха самовар подала... на поднос».

Вскоре все собираются на террасе, и Ужухов видит, как напряглись, чуть даже прогнулись половицы у него над головой. Стук посуды — наверно, через

ножки стола — доходит довольно отчетливо, голоса же бубнят, как под одеялом.

— Это корейка?— Слышно, как кто-то ложкой, захватывая, проводит по сковородке.

— Нет, грудинка. Ты же видишь, с косточкой.

— Лучше бы корейку. Она пожирнее.

— Тебе доктор сказал, что сала надо избегать. Да и грудинку ты зря. Взял бы вон лучше крабы.

Мужской голос — это, конечно, сам Пузыревский, а женский — не то жена, не то мать.

— Если докторов слушать, то и есть надо прекратить. Мой-то до самых последних дней что ни попадая все ел и кушал. Сало не сало, а подавай! И ничего... А в заговенье или в мясоед от стола не отходил. И ничего.

«Это старуха. Как у вороны голос». Ужухов вспоминает ее выкрик в первый свой приезд: «Пышено где?» И сейчас прислушивается к ее голосу внимательно, будто это потом ему пригодится.

— Как же, Марфа Васильевна, ничего,— вmeshивается невестка,— когда как раз ожирение у Трофима Матвеевича и сыграло свою роль...— Что-то шлепается об пол, и тот же голос возмущенно:— Федор! Сколько раз я тебя просила не выплескивать на пол!.. Словно ты в трактире!

Между половицами стекает тонкая струйка, и Ужухов, чертыхаясь, поскорее отводит ногу. Но вода попадает на его черные штаны, и он, пришепывая: «Вот балда!», стряхивает ее, отсаживается подальше. Но этому черту и горя мало! Хмыкнул, сказал: «Извиняюсь» — и уже вину с себя валит.

— Может, оно и как в трактире,— доносится сверху его голос,— но не наливала бы на блюще... В прошлом году, когда я был в Варшаве, при мне из кафе уволили официанта за то, что подал посетителю чашку кофе, а на блюще мокро было. Ну, тот, конечно, себе на брюки... Положи-ка мне еще грудинки, а чай пусть остынет...

Ложка скребет по сковородке, и только тут до Ужухова доходит запах жареного лука и сала. Он переводит взгляд на свой серый мешок, на котором

лежит полоска света, упавшего через какую-то щель. Втягивает носом воздух и быстро наклоняется к мешку, развязывает его. Ничего жареного тут, конечно, нет — круг бараньей, с твердым жиром, колбасы и буханка черного хлеба, — но от запаха на террасе, проникшего сюда, в подполье, вот как жрать хочется!.. На дне мешка — две поллитровки. Одна из них — с водой. Вдруг тревожится: а где бидончик с водой? Припадает на локте вправо, влево, — оказывается, за каменным столбом. Вытаскивает из мешка бутылку, которая не с водой, срывает с головки серебряный кружочек и, вытерев губы, подносит к ним горлышко. Потом принимается за колбасу и хлеб. Пока очищает неподатливую кожуру с бараньей, пестрой, похожей на мрамор, колбасы, зло поглядывает на открытую бутылку, стоящую на земле. «Деньги какие берут, а пробки настоящей нет! Теперь вот нянчайся с ней!» Роемся по карманам, находит какую-то бумажку, комкает ее и затыкает горлышко недопитой бутылки...

\* \* \*

Потом Ужухов видел, как дородный, крупный Пузыревский в сиреновом костюме, покуривая, прошелся вокруг клумбы; затем — по дорожке вдоль зеленой ограды, где пошатал какую-то доску; у калитки, натужившись, выпрямил согнутый крючок. Постоял, оглядывая все свое хозяйство — весь какой-то благополучный, розовый, довольный, — и вдруг, что-то вспомнив, поморщился, лицо потемнело... Хмуро глядя в землю, вернулся в дом, взял красивый желтый портфель и прошел в гараж к машине. И уехал.

«Ну, одним меньше, — подумал Ужухов, когда «Волга» отъехала. — Теперь бы только дамочке отлучиться...»

Он отстранился от глазка в доске и полез в карман за папиросами, закурил. Но тут же потушил огонек: на террасе еще ходили, и раз вода через щели прошла сюда, значит, и дым туда может подняться... Вчера ночью, когда встал тут на постой, курил без

опаски, а сегодня даже после водки — когда страсть как охота покурить — подожди-подумай!

И Ужухов сейчас стал ждать не того, зачем залег в подполье, а просто ухода женщин с террасы. И скоро дождался — погремев посудой, они ушли в комнаты. Он тут же закурил, но все же не привольно, а суетливо разгоняя дым. И тут в тишине от выпитого, от первой утренней затяжки все показалось простым и скорым: сейчас жена хозяина, взяв сумку, пойдет на станцию в магазины или с лукошком в лес по грибы — и все! Через минуту он будет около старухи...

Ужухов загасил о землю окурок и прильнул к глазку в доске так, чтобы была видна калитка, — хозяйка ведь могла пойти не с террасы, а с черного хода, и только у калитки ее заметишь.

...Так он просидел час — никого. Небольшое время час, но смотреть не отрываясь в глазок величиной с гривенник... Ломило спину, затекали ноги — приходилось пересаживаться. И быстро, не зевая, приглядывая за глазком, а то пропустишь. Да еще эта дырка, черт, не совсем ровень с глазами, — надо было тянуться.

На обед прошли плотники с соседней строящейся дачи и среди них тот черноусый плакатный красавец, который в первый приезд Ужухова командовал ему: «Кантуй! Кантуй!» Проехал, тренькая звонком и разгоняя кур, велосипедист с бидоном в руке. Напротив, на дороге, остановились две женщины с авоськами и долго говорили, размахивая руками. Из этого заметил только бидон, авоськи. «А моя чего-то тянет, не идет в магазины». Появился какой-то ферт в белых, в черную полоску, брюках с тортом в руках. Он ходил зигзагом от левой стороны улицы к правой и громко спрашивал: «Где тут дача номер тридцать восемь?» На его голос, протопав на террасе над головой Ужухова, вышла старуха Пузыревских, и подпольный наблюдатель затревожился («Не к нам ли этот гусь?»), но старуха, дойдя до калитки, показала ферту куда-то в сторону.

Она возвращалась к террасе, и Ужухов, поймав

ее, как на мушку, следил за ней через глазок. Низенькая, толстая, с обвисшими серыми щеками, старуха переваливаясь, шла на него и опять, как с бидоном и авоськами, сейчас увиделось только одно — ее шея. Это было что-то безотчетное. Он посмотрел на свои руки — пальцы тоже сжимались...

— Марфа Васильевна, это к Иглицким? — вдруг раздался с террасы голос.

— К ним... Сегодня сама именинница. Позвали бы гостей к вечеру, так нет — к обеду, по-благородному, чтоб пыль пустить...— Старуха пропала в глазке и сейчас тяжело поднималась по ступенькам террасы.— А по будням самим жрать нечего! И забор второй год покрашенный стоит...

— Ну, что за глупости! Просто они живут иначе, чем мы... Сами ходят, и у них люди бывают...

Ужухов отстранился от глазка и принял позу поудобнее: пока они обе на террасе, можно отдохнуть. Хотел закурить, но вспомнил про щели наверху, сплюнул, проворчал: «То одно, то другое».

— А что толку! Зато у нас полная чаша... Тебе Федя только что два новых платья справил.

Молодая хозяйка не сразу ответила. Слышно было по ее легким, на каблучках, шагам, как она ходила по террасе.

— Ах, Марфа Васильевна, мне вам трудно объяснить...— заговорила она.— Принято думать, что художниками, скрипачами, баритонами и так далее люди рождаются, а всеми остальными они делаются... Жизнь их, дескать, делает. А по-моему, например, купцами, дельцами люди тоже рождаются... Посмотрите, работает человек в каком-нибудь нашем учреждении лет тридцать — сорок, говорит красивые слова, призывает, агитирует, а вышел на пенсию или в отставку — и смотришь, нутро его совсем другое: начинает строить дачку, курятники. Начинает доставать, продавать, хитрить, обманывать, взятки совать... Возьмите Щеголькова около станции. Кем он был на работе и кем он стал теперь! Ведь весь сияет, что доплавился до своего, до своей натуры!...

— Ты это к чему? У нас, слава богу...

— А к тому, что не все от этого сияют... Я говорю о его домашних. Помните, вы говорили, что у этого Щеголькова с дочерью нелады?

— А у кого теперь с молодежью лады?..

— Ах, это совсем другое!.. Ну хорошо, оставим это!.. Вы говорили, что за маслом надо сходить? А что еще взять?

— Больше ничего... Может, разве рыбы копченой...

Ужухов вздрогнул, почувствовав озноб на спине,— вот оно! Через минуту, через две... И непонятно: столько ждал, а сейчас лучше бы бабы еще о чем поговорили... Но все же припал к своему глазку. Смотрел на зеленую калитку и не видел ее; по улице, за калиткой, проехала телега с рыжей лошадей. Он, будто ему это сейчас нужно, проследил за ней... И почему-то потемнело. Неужели уже вечер! Что же молодая не показывается? Голоса доходили из дальних комнат, потом стихли, и он, скосив глаза, ждал, когда она появится на дорожке справа от черного хода. Но голоса вернулись сначала в комнаты, потом на террасу.

— Возьми зонтик.

— Не поможет... Кругом обложило.

Только сейчас увидел: шел дождь. И не вечер, а стояли тучи. Повернулся спиной к глазку, ударил кулаком по земле: «Вот черт!» Теперь было досадно: «Чего возилась, вышла бы до дождя!»

### 3

Сюда, в подполье, дождь доходил равномерным гулом, только, как запевала в хоре, тренькал на углу дачи водосточный поток, падая то в звонкое ведро, то в гулкую кадушку. Заглянув в глазок, Ужухов заметил плотников, возвращавшихся с обеденного перерыва,— накрыв головы холщовыми мешками, они неторопко бежали к своей стройке. За ними, облаивая их, гналась белая, с загнутым хвостом, собачонка.

«Значит, уже час».

И верно: на часах был уже второй. Дождь все не унимался, и под обшивочными досками подполья, где был глазок, появилась лужа. Она подползала под сложенное вчетверо одеяло, на котором сидел Ужухов,

и ему пришлось щепочкой отгонять ее, прорывать ей отвод.

«Хозя-аева тоже!.. Если вода под фундамент, то все гнить начнет!»

От лужи ли этой, или от дождя вокруг, но в подполье стало как-то сыро, зябко, и он, дотянувшись до бутылки с бумажной пробкой, отхлебнул два глотка. Бездействие томило. Сложил руки, смотрел в одну точку. Наверху было тихо, лил дождь, уже не тренькал, а бубнил водосточный поток — и ведро и кадушка, наверное, налиты... Не глядя, покопался в мешке, ухватил там кусок колбасы, стал жевать.

Но все кончается. Щели в обшивочных досках вдруг побелели, засветились, а с левой стороны просунулись лезвия солнечных лучей. Теперь надо заниматься пост.

В глазке все сияло — трава, цветы, листья деревьев. На темно-лиловой, набухшей от воды клумбе ярко выделялась зелень и какие-то белые мелкие цветочки. Зеленая калитка лоснилась от дождя, и около нее, пробравшись на участок, бегала та беленькая, с загнутым хвостом собачонка, что гналась недавно за бегущими плотниками. Приостановясь, подняв одну лапу, она понюхала воздух и бойко побежала по дорожке к даче. Ужухов похолодел.

«Вот стерва!.. Это она на колбасу».

И он сразу представил: она подбегает, чует за досками человека и начинает лаять...

Умял поскорее мешок, чтобы закрыть запах, вытер об штаны обмасленные пальцы. На террасе слышались голоса, быстрые шаги и пропали в комнатах...

«Сейчас хозяйка идет к калитке, а тут лай».

Заглянул в глазок влево-вправо — собаки не было. Отлегло — пробежала мимо... Стал смотреть на калитку — вот сейчас хозяйка за маслом, и все кончится. Ему вдруг захотелось — просто тело просило — разогнуться, встать во весь рост. Да, тогда над ним не будет давящего потолка-пола, а во весь рост...

Почувствовал за собой не то шорох, не то дыхание. Быстро обернулся: собачонка. Как же она пролезла сюда? Собака стояла, строго смотря на него,

выжидательно наклонив набок голову — вот сейчас залает. Пальцы сами собой сжались и уже к ней... Но опустились: пока задушишь — визгу сколько! На террасе старухин голос: «Чего это в магазин в шелковом ийти! Не барыня! Надела бы ситцевое». Подождать, замереть, пока та в калитку? Не угадаешь — залает, и тогда две бабы сюда. Сердце колотилось, руки взмокли...

«У-у, проклятая!..»

И вдруг загнутый хвостик влево-вправо. И глаза просящие: дай, пожалуйста.

«Вот балда!»

Собака-то сама чужая, мимоходная! Разве она в чужом месте будет лаять? Нагнувшись к мешку, отломил ей кусок хлеба и бросил. Та съела, осуждающе глядя на человека — не за этим сюда лезла. От второго куска отказалась. И Ужухов на нее свистящим шепотом:

— Ну и брысь, черт! Колбасы тебе!..

И замахнулся. Собака покорно отскочила и исчезла в полутьме подполья. Тут же заглянув в глазок, он увидел ее трусящей к калитке. Рукавом вытер взмокший лоб. «Уф-ф! Да-а».

Всякая опасность, минув, приносит облегчение, и забывается то, что предстоит впереди. Сидел, бездумно смотрел в глазок на зеленеющий, просыхающий после дождя сад, и сердце и тело утихали... И вдруг старухин голос: «Подожди! Посмотрю!» — вернул к тому. И то, что утихало, отходило, опять забилося. Но и ожесточило, как бы обрадовало: «Эх, скорее бы!» И, ободряя себя, обнадеживая, живо представил, как через какие-нибудь час-полчаса он неторопко, безмятежно будет подходить к станции. Только еще не виделось: где же будет оно — в карманах, в мешке, за пазухой?..

— Ну, вот всегда так! — раздался над головой голос молодой хозяйки. — Выбросить надо, а вы все храните! Лучше я за свежим маслом схожу.

— Разбросаешься, милая... Тут, почитай, грамм полтора ста. И как оно в холодильнике завалилось, не пойму... — У старухи был виноватый тон, но она на-



ступала.— Выбросить! Чужих денег тебе не жалко. Чем на станцию таскаться, ты, Надежда, займись лучше огородом. Опять помидоры полегли...

Ужухов понял: на станцию не пойдет. И уже не было силы ни чертыхаться, ни действовать, ни думать... Он повалился на землю, раскинув руки, и только тут почувствовал, как устала спина от долгого, неудобного сидения. Лежал, смотрел на сизые, в паутины, половицы потолка-пола, и ничего не хотелось, все все равно... Хоть собирай свои пожитки и катись домой. Только мелькнуло ни к чему: молодую, оказывается, зовут Надежда. На террасе что-то говорили — не слушал,— потом стало тихо, но почувствовал: по-нехорошему тихо.

— Марфа Васильевна! — У этой Надежды дрожал голос.— Вы понимаете, что говорите! Утром сказали, что Федор мне «платья справил», сейчас, что мне «чужих денег не жалко». А вчера что-то от меня тайком купили и спрятали... Ведь это...— Голос прерывался.— Ведь это просто... да просто оскорбительно слушать, видеть! Вы понимаете?.. Есть у вас совесть? Ведь Федор... и вы ему поддакивали... сам уговорил меня уйти со школьной работы... Кто я теперь? Была учительница, меня любили на работе, а теперь будто из милости, будто приживалка...—и она заплакала. Дрожал, ломался голос, а теперь и слезы.

«Вот стерва, действительно...»

Ужухов проклинал старуху за то, что именно она отговорила хозяйку от масла, от станции. Это из-за нее, ведьмы, он томится тут. Но и это услышанное тоже... Слова «приживалка» он не знал, но догадался, что это обидное, да и вообще довела дамочку до слез... Попрекать человека куском хлеба — он так считал — может только сволочь. Таких даже в тюрьме не было...

Так, как бы в забытии, он пролежал часа два, прислушиваясь к невнятным голосам и шагам в комнатах, прислушиваясь к одному: не уходит ли кто? Доносилось то шарканье щетки, то буханье выбиваемых ковров. Затем стали постукивать посудой, ходили в кухню — обедали. Потом мыли посуду, потом где-то сбоку раздалось поросячье хрюканье и ласковое при-

читание старухи: «Ах ты, мой гладенький, ах ты, мой румяняный, ах ты, мой лопушочек!..»

«Не то, что с невесткой!» Ужухов перевернулся на бок, и теперь открылся ему весь простор подполья — стало как-то легче, свободнее, тело не просило, как прежде, разогнуться, встать во весь рост. И он незаметно для себя заснул...

4

Проснулся от каких-то недалеких голосов, вскочил — хозяйка небось ушла, старуха одна, а он тут дрыхнет!.. Но это спресонок — один из голосов был Надеждин. Щели в подполье светились уже не солнечным, а серым предвечерним светом; взглянул на часы: было без пяти шесть.

«Скоро уж и сам из магазина... День впустую».

Он представил, как будет спать тут, в этой могиле, и вторую ночь, и покрутил головой... Впрочем, корешки говорили — ся-то сам впервые, — что по такому делу лежку и три дня, бывает, занимают... Поворошил в мешке, достал хлеба, колбасы и, запивая водой из бидончика, закусил. Обтерев толстые губы рукавом, подсел к глазку: с кем это там хозяйка?

Около клумбы, на скамейке, ближней к дому, сидела в белом платье с красным передником Надежда и с нею рядом — лицом к Ужухову — какая-то длинная девчонка с двумя желтыми косами. Глаза ее были заплаканы, а на лице хозяйки такое выражение, будто горе у них одно и она все понимает. Это у баб обычно — любят в душу влезть, на себя принять... Но стал рассматривать молодую хозяйку.

В те дни, когда он ездил на дачу Пузыревских в разведку, она ему показалась обыкновенной дурой-дачницей, которая от жира и дармоедства каждый год таскается за город дышать воздухом, будто его и в городе нет. Но за сегодня он услышал, что жизнь ее не сладка, — а сам он тоже настрадался немало, — поэтому она стала для него как-то понятнее, хотя, конечно, ее горемыканье и в сравнение не могло идти: при таком-то фартовом барахле возьми свою долю да

и иди на все четыре стороны... Впрочем, они, бабы, привязчивы — лучше поплачут-похнычут, чем уйдут.

Из разговора, который до него доносился, он понял, что эта длинная девчонка с двумя косами была та самая дочь Щегольковых, о которой хозяйка и старуха днем вспоминали. Ее нелады с отцом дошли до того, что она хочет уйти из дома, переехать в студенческое общежитие. Пришла она не жаловаться, а попросить у Надежды какую-то тетрадь — записки, оставшиеся от ее учебных лет, но по-бабьи разговорилась и дошла до своей домашней беды, до слез...

— Вы еще подумайте, Катя! Это не так просто... А мать как?

Хозяйка говорила, повернув к гостье голову, и сейчас были видны ее большие, красиво блестящие глаза, румянец, поднявшийся к вискам. Но Ужухов после услышанного сегодня заметил только, что лицо у нее доброе и бездельное, какое бывает у людей, когда у них не жизнь, а жестянка...

— А мама будет ко мне приходить...— Катя проводила скомканным платочком по глазам, утирая высыхающие слезы.— Будет приходить... Вы поймите, я не могу оставаться... В школе еще мы разбирали «Крыжовник» Чехова... Все возмущались, осуждали человека, залезшего в мещанское болото, в мелкие интересы, в собственность... Отец, помню, мне помогал, когда я готовила «Крыжовник»... А теперь сам! Все силы — в дачу. Ни о чем другом думать не может. То строит, то ремонтирует, то подстраивает. Все какие-то гвозди, тес, шпаклевка, шелевка, горбыль... Нигде не бывает, и никого знать не хочет. Живем в скорлупе...

— Ну, отцы и дети, знаете, всегда...— примирительно сказала Надежда.— Только так говорится, что проблема эта в прошлом.

— Нет, у Светланки другой! С ним обо всем поговорить можно — человек человеком... А тоже строил дачу. Через дорогу от нас...

Хозяйка потянулась, сорвала травинку и стала обматывать ею палец.

— Это все зависит, Катя, от культуры. Какая она: внешняя или внутренняя...— Надежда принялась разматывать травинку.— Я знаю одного человека.... Поскреби его, а там... В общем, не то, что сверху... Но что у нас, у женщин, плохо, позорно! — Она отбросила травинку.— Привыкнув жить под крылом, мы трудно с ним расстаемся! Даже если видишь, что крыло тебе... чужое.— Она дотронулась до Катиной руки.— Это, конечно, не про вас, а про замужних... некоторых. Про тех, которые ошиблись, не то нашли...

Но Катя, видно, свое еще не отговорила.

— Нет, я буду жить отдельно. Не так стыдно...— Она пристально посмотрела на Надежду.— Ведь, понимаете, нет ничего стыднее, когда на словах одно, а на деле другое. Ведь есть уже бригады коммунистического труда... Не у нас, конечно, а на заводе, но все равно мы как бы с ними... Тоже душой с ними, тоже в ответе. А вот дома все другое, другое... Будто вру кому, будто бессовестная! — Катя передохнула, губы у нее задрожали, и она опять схватила за мокрый платок.— Маму только жалко! — Она отвернулась.— Ну, будет ко мне приходиться... Так ведь не насовсем, а лишь на минутку...

Ужухов все слышал, но не все ему было понятно. Так он однажды по радио слушал: горячились люди, горячились, но так по-ученому, по-мудреному, что неизвестно из-за чего... Прямых слов нет, а все только вокруг. И с дачами, что девчонка говорила, тоже не то... «Эх, дуры бабы! Не о том ахать надо, что человек к дачке своей присох, а о том, как он ее на свои восемьсот целкашей жалования строил!.. Тут вот сиди в сырости, как гриб, и добывай себе хлеб-соль, а тот на свету вразвалку ходит и ничего!..» Но поверх всех слов, поверх всего мудреного и ненужного он понял эту девчонку с двумя косами, как недавно понял и хозяйку. Зря слез не льют...

Вдруг встрепенулся.

«Эх, дело чертовое! Тут слюни не распускай!»

Пока суды-пересуды, пока о чужих слезах жалостился, эти, на скамейке, вдруг поднялись и пошли. Думал, хозяйка до калитки, а она — и за калитку..

Это что же? Провожать пошла! И далеко — Щегольковы, слышал, ведь у станции...

И сразу от покоя, от беззаботного подслушивания у глазка вдруг к своей заботе. Мысли уже вернулись, а сам еще сидит у глазка и отрываться не хочет. Но вот по-собачьи, на четвереньках, бросился к дверце, к выходу. Да в темноте, в суете не в ту сторону. Вернулся, заметил свое барахло: братъ, не братъ?.. Что же после того сюда, в темноту, опять за вещичками лезть?

Взял мешок, одеяло, шапку... А недопитую бутылку водки в каком-то беспамятстве решил оставить. И, прижимая к себе вещи, уже отполз было от нее, но оглянулся. Через щель серый лучик вечернего света — прямо на бумажную пробку в бутылке. Другому балбесу и не понять — пробка и пробка, а тут своя выучка: сколько фартовых домушников и городушников засыпалось на мелочной дряни — на клочках да обрывках... А бумажку для пробки он ведь из кармана вынул,— может, что написано там!

Вернулся, бросил вещи и — к пробке. Верно — что-то написано. Пробку сунул в карман и глазами вокруг — чем бы еще заткнуть?. Шарил-шарил и вдруг, как по лбу,— вот балда! — зачем вообще-то бутылку оставлять? Заткнул той же бумажной пробкой — и в карман. Схватил вещи, подцепил и забытый раньше бидончик с водой. Тяжело переваливаясь, как подбитый — на двух коленях и одной руке,— заспешил к выходу.

Уже потянуло керосином от бутылей и банок, стоящих при входе. Пополз медленнее. У дощатой дверцы замер. Приоткрыл ее, выждал — не смотрит ли кто? Мимо изгороди по улице шли двое — пусть пройдут... Но они не прошли. Открыли калитку. А это, оказывается, Пузыревские...

Ужухов отпрянул от дверцы в темноту.

«Ну, все! День кончился!»

Не выпуская вещей, привалился у дверцы, как подбитый.

...Федор Трофимович, встретив жену с заплаканной Щегольской, молча подождал, когда они распро-

стятся, и, как только Катя отошла от них, спросил: что за слезы? В ответе жены было не только сочувствие Кате, но и что-то такое, направленное против него, Федора.

Это было для него не новым. Обычно он как человек, которого в чем-то обвиняют, старался оправдаться. Но сегодня только досадливо махнул рукой, пробормотав: «А-а! Надоело!» Надежда Львовна удивилась не словам, а голосу — был он какой-то резкий, каркающий. Она посмотрела на Федора, и теперь поразило его лицо: неподвижное, темное, с каким-то застенчивым блеском глаз. Он вышагивал в своем франтоватом сиреневом костюме рядом, рослый, тяжелый, и песок на дорожке скрипел под ним. Но шел неровно: то замедляя шаг, то даже приостанавливаясь. Так держит человека мысль, дело или желание, не до конца решенные.

Но Надежда Львовна подумала: какие-нибудь неприятности по работе. И так молча они подошли к дому, открыли калитку и молча — она впереди, он сзади — взошли на террасу, прошли над изнуренным, притихшим Ужуховым. Ее шагов подпольный узник не слышал, от ног же Федора половицы террасы стали прогибаться — над головой, дальше, еще дальше, уже в комнатах, затихая...

#### *Глава четвертая*

#### *НА ВЕРХУ*

#### **1**

Да, Федору Трофимовичу сейчас было не до чужих слез, не до семейных разладов и обид. Было одно дело, которое он в душе называл «смелое дело», оно приближалось, с ним уже нельзя было тянуть, а смелости-то не хватало. Бывают такие тайные заботы — и легко ходит человек, и смеется, и заведенные дела делает, а в душе, как в старину говорили, червь гложет. И никому об этом черве не расскажешь, помощи не полу-

чишь — все сам и сам... И оттого, что все сам — без благословения, без локтя рядом, — боязно... Вот на целине было совсем другое! Не в одиночку тогда шел, не бобылем, а подобрались хорошие, солидные люди, и все чинно, благородно — и друг другу посовествовали, и друг другу помогли, и сообща отвалились подобру-поздорову...

...В большом деле все большое: и добро и зло. На бескрайние степи поднимать нетронутую землю приехало доброе большое племя, обуянное жаждой подвига, жаждой небывалой работы, неслыханных свершений. Не громкая, не крикливая, а простая любовь к родине привела их сюда, привела налегке, с котомкой за плечами, и привела на пустое, дикое, где надо было начинать с древнего, с первобытного: с костра и с кольев, вбитых в землю — в землю, в которую никто и никогда ничего не вбивал...

Но, конечно, страна не оставила их здесь робинзонами — следом потянулись строители, хлебопеки, водовозы, завклубами, киномеханики, почтари со сберкассирами, ну и, понятно, всевозможная торговля. Над всеми этими потянувшимися реяла слава целинников. Что же, справедливая слава: они тоже начинали с костров и кольев. За первым эшелонам был второй, третий — и слава еще реяла, но под ее стяги порой стали подходить, подъезжать и такие молодцы, которые у себя дома давно были обесславлены или после всяких крушений прозябали на невидной работе. Облегчало им дорогу сюда и то, что костров и кольев уже не было — люди жили в домах с теплом, с водой, с клубами и с торговлей. Вот именно что с торговлей. К ней-то новые паломники и пристали. И не зря: базы, склады, магазины — все широко было, не потревожено, непугано, тоже в своем роде целина. Зловредные ракушки прилипают и к двухвесельной лодке, и к просторному дну могучего дредноута. Так и здесь: в большом, народном деле и прилипал оказалось немало...

Так огорчительно Федор Трофимович про себя, конечно, не думал, тем более что поехал он на целину, тяготясь невидным и беспокойным магазином с шап-

ками-шляпками, имея о будущей своей работе на целине хотя и обольстительные, но смутные планы. А уж осенило его потом, на месте. И про это недалекое время — прошло всего четыре года — он часто и с охотой вспоминал. И легко вспоминал — все обошлось хорошо, тихо.

...Как нередко бывает, помог счастливый и, можно сказать, забавный случай. По новой проложенной трассе, проходящей через старую, еще доцелинную деревеньку, ездил их базовый шофер Вакуличев. Глупые деревенские куры, незнакомые еще с двигателем внутреннего сгорания, попадали под него. Когда дюжий ярославский «ЯЗ» с медведем на радиаторе, грохоча и дымя, проезжал, хозяйки бежали к погибшей душе, поднимали ее, бездыханную, с дороги и, причитая, понося черта с внутренним сгоранием, тащили ее к заведующему торговой базой Тишаеву. Сердобольный и справедливый заведующий платил деньги за раздавленную курицу — как же иначе! — потом вызывал Вакуличева и отчитывал его, обещая переложить расходы на него. Тот оправдывался:

— Так разве ее заметишь! В сравнении с «ЯЗом» куренок все равно что комар. Кроме того, четыре здоровущих колеса — не углядишь. Может, задним маненько и прихватишь птицу...

Однако платить за свое «маненько» отказывался. А кур несли и несли...

И вот однажды сердобольный Тишаев, как всегда, пишет записку в свою бухгалтерию: «Оплатить», а сам на почившую курочку-рябу поглядывает. Женщина же — чтоб шоферское злодейство виднее было — на двух ладошках, как на подносе, ее держит: смотри, начальник, любуйся... Но автоперо у заведующего что-то заело: «опла» написал, а вот «тить» не пишется. Пока встряхивал перо, продувал, в это время откуда-то таким ароматом запахло, что нос на сторону! Оглянулся, огляделся — так ведь это от курочки-рябы несет!.. Тишаев бросил «тить» выводить и — к этим ладошкам, что держат усопшую.

— Мамаша! Да в этом ли году приключилось? Может, в прошлом?..



Ну и выяснилось, что одну и ту же куру раз по пять приносили и раз по пять за нее получали. После этого сердобольный заведующий стал вакуличевские жертвы отбирать, у себя оставлять, и как-то все само собой прекратилось — не то деревенские хохлатки помнели, не то пропала у них охота соваться под колеса, которых, как известно, четыре и за которыми, как известно, не углядишь...

С этого и началось. Посудачили, посмеялись на счет неразменных куриц и забыли. Но Федор Трофимович запомнил, и, как только перешли под его владение фрукты и овощи на базе, он по куриному примеру пустил и апельсины, и лимоны, и яблоки. Составлялся акт о том, что такие-то ящики тронулись, подлежали списанию, и, в самом деле, на какое-то время они исчезали, а потом верные люди доставляли их — неразменных — обратно, и снова акт, снова в расход... Плоские ящики с красивыми наклейками были куда лучше глупой курицы. Та, полежав, выдавала себя; ящики же с фруктами от лежания только становились желаннее. Разница была и в том, что простодушная птица действовала в одиночку: сама попадала под колеса, сама протухала, сама просила оплаты; красивые же ящики Федора Трофимовича имели двойников: один духовитый ящик списывался пять раз, а пять настоящих продавались «налево». По целинным масштабам, по тому, сколько слали сюда товаров, ящиков-оборотней на базе, где пристроился Федор Трофимович, было, понятно, не мало... Иногда, правда, они оборачивались всего два раза, но и то, значит, не без пользы прожили свой век.

После окончания фруктового сезона навернулось еще одно дело — со строительными материалами. Оно напомнило начало всех начал — далекий, из времен эвакуации тес. Но уже менее безобидный. Тогда тес просто остался от ремонта клуба и пошел молодожу Федору на перегородку; сейчас же Федор Трофимович постарался, чтобы он остался. Этим делом и завершил свое интересное пребывание на целине.

Хотя соблазн и еще был. Так, верные дружки предложили заняться пересортицей — довольно ходовым и не хитрым занятием по превращению товара третьего сорта во второй, а второго — в первый, но не встретили сочувствия у своего бывшего компаньона. Дело в том, что эти чудо-превращения были не только ходовым занятием у торговых воров, но и ходовым судебным делом, после разбирательства которого чудотворцам охотно и тотчас предоставлялась казенная машина, довозившая их до узилища.

О нет, он вовремя — да и не один — отвалился от деятельной компании, вовремя вернулся в Москву, вовремя, ссылаясь на сбережения и на какие-то большие премиальные, стал строить дачу, обзаводиться серьезным хозяйством... Но вот прошло время, и немалая толика целинных доходов, которая была припрятана, разошлась. Маячило одно интересное дело, но он сейчас один — былых степных соратников разбросала жизнь, а новые еще не объявились, и было как-то бо-язно.

## 2

Деньги нужны были не только потому, что от целинных благоприобретений мало осталось, а и потому, что существовала пышнотелая, вальяжная раскрасавица Сюзанна Ивановна — кассирша из магазина на Сretenке.

Бывают люди с поздним проявлением истинных желаний. Поступает молодой человек учиться на лекаря, но по прошествии времени оказывается, что у него душа лежит не к печени и селезенке и не к уху-горлу-носу, а к неживым винтикам-шпунтикам, которые в неживой машине или приборе зарождают жизнь; стремится человек к лабораторным пробиркам и штангласам, а потом все побоку, — оказывается, только мореходное училище с просторами, с морями и океанами было его настоящим призванием...

Так и с любовью. Когда Федор в далекие теперь годы эвакуации добивался Надежды Львовны, ему казалось: вот это настоящее! Это убеждение поддерживалось еще и тем, что тогдашние диванные филосо-

фы тоже имели виды на скромную, умную девушку. И его это понуждало проталкиваться к ней. Но когда брак совершился, когда эвакуационное жите кончилось и открылась настоящая жизнь, которую Федор стал приспосабливать, так сказать, к своему образу и подобию, то оказалось, что вывезенная из города К. девушка-учительница уже мало соответствовала этому образу и подобию.

...Это было взаимно. Она тоже чувствовала, что с каждым годом Федор для нее все дальше, все отчужденнее. И здесь тоже сказалось время. Правда, и тогда, в эвакуации, он во многом был для нее неродной, чужой, но были два обстоятельства, которые в то время помирили ее с этим: он ее любит, он ее добивается и второе — в том трудном, военном времени Федор был для нее крылом, защитой... Но этого чувства защищенности хватило ненадолго. Когда началась нормальная жизнь, когда Надежда Львовна вернулась в школу, вернулась к кругу своих любимых занятий, привычных дел, прежних знакомых, Федор как устроитель быта жизни, как крыло от всех превратностей, отодвинулся; утешение же, что она любима, уменьшалось по мере того, как замечала, что бывшее чувство Федора тает.

И она поняла свою ошибку, совершенную в далеком К. Было два выхода: расстаться или, примирившись, жить дальше. Первый выход был нетруден, если бы кто-то был на примете — так уж заведено у несчастливых супругов: легче уйти, когда тебя кто-то отзывает, чем уходить в пустоту, в холостую жизнь... Впрочем, сильный, решительный характер с этим, конечно, не посчитался бы, но она не принадлежала к таким характерам. И жизнь пошла дальше. Единственное, что она взяла себе в утешение, — это надежда, что Федора можно как-то изменить, сделать более родным по духу.

Привлекательные для нее достоинства Федора — любящий человек и защитник в трудную минуту, — исчезая или не находя применения, обнаруживали, оголяли истинный облик Федора, которого она до этого старалась не замечать или подыскивала ему оправ-

дания. Она помнила один день из эвакуации, который она потом хранила в памяти как «день позолочения», — Федор золотой краской выкрасил тогда и ножки своего счетверенного чудо-примуса, и ручки у дверей, и шпингалеты на окнах... Как сейчас, помнился иронический возглас покойницы мамы: «Это уж совсем не Париж!» — и удивленные, ничего не понимающие глаза Федора: «Ведь это же золотая краска! Красиво!» И тут же она тогда нашла оправдание: «Ну, так человека воспитали — вот и все».

И с этими оправданиями-извинениями она долгое время жила. Случалось Федору сказать какую-нибудь грубость, обнаружить бестактность, она спешила объяснить: «Нет, Федор хотел сказать (и она приводила, что он хотел сказать), но получилось, будто он... (и она приводила, что получилось)».

Случалось, что Федор не читал того, что все читали, или не знал того, что все знали, и тогда Надежда Львовна говорила: «У него много работы. Не успевает...» Или: «У них дома не любили читать. Отец был вечно занят...»

Ссылки на семейные традиции и преемственность — о чем она знала со слов и Федора и Марфы Васильевны — почему-то казались ей самыми оправдательными. Когда заходил разговор о том, почему у Федора Трофимовича нет близких друзей, Надежда Львовна отвечала, что у его братьев тоже нет друзей; когда спрашивали, почему он так неохотно ходит в театр, она, хотя и подшучивая над этим, отвечала: «У них в семье не любили тратить деньги попусту»; когда близкая подруга сказала: «Знаешь, твой Федор какой-то сам за себя. Поэтому-то он и людей не любит. Но не всех — ловких, жуликоватых, я заметила, он уважает...» — Надежда доверительно ответила: «Отец-то купец был! Хоть и мелкий, но они все такие!»

Та же подруга, наслушавшись этих оправданий и объяснений, как-то сказала: «Слушай, зачем ты это? А если бы он убил человека, ты бы тогда объяснила, что и дедушка и двоюродный брат у него тоже были убийцы. Тебе от этого легче?»

Нет, конечно, не было легче, но ей казалось, что ее опрометчивость в выборе мужа как бы раскладывалась и на его родню.

«Пойми! — говорила та же близкая подруга. — Таких странных браков, как твой, не один!.. У нас, помню, дома в детстве была одна милая, но какая-то уродливая собака. Отец всегда объяснял: «Это помесь дога с чемоданом». Вот и у вас, ты меня прости, то же... Но надо искать какой-то выход... Жить с человеком чужим тебе по духу, жить без любви — разве это достойно?..» — «Это не так просто... — отзывалась Надежда Львовна. — Он ко мне добр, заботлив...»

«Ей хорошо так говорить! — думала она после ухода подруги, сказавшей ей много прямых, неприятных слов. — Она одинока, поэтому так легко, с маху судит! А если бы была на моем месте!..»

Надежда утешала себя — всегда досадно, когда кто-то показывает на твои ошибки. Но ведь это правда! Много позже, в разговоре с молодой Щегольковой, она сама осудила женщин, боящихся выйти из-под крыла, даже если оно чужое...

Но тогда еще ей не хотелось принять осуждение подруги, хотелось оправдаться, самоутешиться. И, оставив утешение о семейных традициях, она взялась за новое: нет, Федор не безнадёжен, его можно как-то изменить, сделать ближе к себе. Она прочла немало книг, посмотрела немало фильмов о перевоспитании. Правда, там, в книгах и в фильмах, речь обычно шла о подростках, но Федор по своему духовному развитию, в сущности, тоже еще был несмышлёныш. Она вспомнила давнишнее сравнение: рояль с веревками. Кто знает, может, удастся натянуть настоящие струны?..

И она стала с ним заниматься. Она водила его на лекции в Политехнический, на спектакли, давала читать книги. И не просто водила и давала, а старалась расспросить о впечатлении, чтобы Федор поразмыслил, позадумался. Ученик был не из способных — она-то знала это, — но терпению ее учили еще в педагогическом институте.

— Ну, как тебе понравилась главная героиня?

— Ничего... Аппетитная такая бабенка.

— Я не о том. Права она была или не права?

— Ну, конечно, права. Раз работа ей неинтересна, мало дает...

— Да, но она своим уходом подводит товарищей.

— Ах, оставь! — и Федор махал рукой. — Это все красивые слова! В жизни все иначе. Придись это мне, и я бы то же сделал...

— И не было бы совестно?

Федор задумывался, и она радовалась, что зацепила за что-то живое, душевное, доброе. По его красивому, голубоглазому, дорожному лицу проходили отблески каких-то мыслей, чувств...

— Не то что совестно... — начинал он — а муторно и хлопотно! Веди как будет? Начнут меня прорабатывать, а ты виновато стой и раскаивайся! А эти проработчики сами так же сделали бы! Но для показа, для красивых слов они, конечно, соловьями бы разливались. Противно! Не люблю... Это не мне, а им должно быть совестно!

— Так что же, на земле добра нет? Только в него играют?

— Ну, это, знаешь, уже философия! А мы, как говорится, «гимназиев не кончали»... Ты не помнишь: семга у нас в холодильнике осталась? Хорошо бы сейчас прийти домой да под семгу хватить...

3

Подобных разговоров — по увиденному, по услышанному, по прочитанному — было немало, и у воспитанника что-то пробудилось, зашевелилось; во всяком случае, он стал думать, чувствовать как-то лучше. Надежда Львовна радовалась.

Но оказалось преждевременно.

В тот год в меховой торговле не было меха, и на витринах, спустив толстые, пушистые хвосты, висели только чернобурки, пугая прохожих четырехзначными ценами. И вдруг на всех прилавках меховых магазинов появились цигейковые мужские шапки вроде

поповских камилавок. Их стали быстро разбирать, в том числе и женщины: особым кокетливым надломом они делали их пригодными и для себя.

Попали шапки и в магазин головных уборов, где директорствовал Федор Трофимович перед своей поездкой на целину. Он разделил полученный товар на три части. Одну пустил на полки, в обычную продажу; другую с хорошей надбавкой отвалил приезжим молодцам, и те, запихав черные и коричневые камилавки в чемоданы, разъехались по далеким базарам; третья — просто и безобидно — по п р и д е р ж а л.

— Все-таки эти слесаря-частники сплошь жулики! — сказал однажды Федор Трофимович, хлопоча в ванной комнате. — Ты смотри, Павел хотел поставить весь немецкий душ, а здесь только смеситель воды немецкий, а краны собрал из разного барахла... А я, дурак, кроме оплаты еще ему и шапку из магазина дал, как обещал...

— Это что-то ты переборщил! — отозвалась Надежда Львовна. — Ведь сколько шапка стоит!

— Так не бесплатно же. По нормальной цене...

— Почему же ты тогда говоришь, что «дал»? Он мог и в другом магазине купить.

— Хватилась! Шапки эти давно везде распроданы. А я попридержал десятка полтора-два для нужных случаев... Ну, кому-нибудь в виде благодарности...

— Подожди, это значит... — Лицо Надежды Львовны потемнело. — Это значит, если называть вещи своими именами... Ну, в общем, это нечестно! Какое-то жульничество...

Федор Трофимович, несмотря на хмурый взгляд жены, на ее обличающий тон, не мог не рассмеяться. Вот святая простота! Все равно как если бы бежал слон или пусть даже собака и ненароком лапой придавили какую-нибудь букашку — разве это грех! Ему, понаторевшему уже в более сложных торговых комбинациях, просто смешно это слушать. Да что там сложные комбинации! В сравнении даже с таким нехитрым делом, как шапки, отданные с накидкой приезжим перекупщикам, это попридержание товара такая безобидная чепуха! Это и святой делает...

— Ну, зачем такие слова! — с простодушной улыбкой сказал он. — Какое же здесь жульничество? Этот Павел заплатил за шапку по казенной цене, деньги уплачены не мне, а в кассу. Вот и все! Государство ни копейки не потеряло.

С такими простодушными голубыми глазами все ей спокойно объяснил!.. И она вдруг вспомнила много таких случаев; они объединились в памяти, сгруппировались, и ей открылось что-то новое в его жизни, скрытое от нее. Оно, как стена, стояло перед ней, и сколько ни бейся — стена...

Так выяснилось, что воспитанник, который, казалось, от негласных занятий с ним стал думать и чувствовать как-то лучше, на самом деле не продвинулся. Нет, струны не натянулись! Он только на словах — чтоб попасть в тон своей учительнице — иногда (о том, что его близко не касалось) говорил об этих думах и чувствах так, как ей хотелось.

...Дело в том, что Федора Трофимовича тяготили эти занятия на тему «Как жить». Во-первых, он сам прекрасно знал, как именно надо жить; а во-вторых, то, что его считали как бы учеником, то есть обнаруживали в нем какую-то неполноценность, — хотя все это, конечно, был чистый вздор! — раздражало его. Думай так только его просвещенная жена, он отмахнулся бы — не в этом, так в другом, например в хозяйской хватке, она тоже была несильна, но он чувствовал, что так думали и те ее подруги, знакомые, которые бывали у них в доме. Вот это-то и заставляло его иной раз кривить душой — говорить не то, что он думает по всяким этим жизненным, деликатным вопросам. Подделывался Федор под чужой тон не часто, больше отмалчивался, но все это вызывало досаду, раздражение, ибо он, не желая, сопротивляясь, все же чувствовал себя в доме действительно каким-то ущербным, которого какие-то «шляпы» (так он называл всех, не имеющих практической хватки) как бы вели на поводу...

Но вот он поехал на целину, вырвался на свой стратегический простор, и все изменилось. Уже в его письмах, написанных любимым им чернильным ка-



рандашом, Надежда Львовна почувствовала новый тон. Этот тон был не то решительный, не то снисходительный, но за ним угадывалось, что Федор живет какой-то другой жизнью. Он ей советовал, высказывал свое мнение о разных делах и событиях, отдавал распоряжения по дому — и все это смело, веско. Воспитанник, отправившись в далекие края и пожив там, как бы возмужал и сам теперь учительствовал...

И верно, Федор Трофимович, очутившись на целине и потеряв из виду тех «шляп», которые чему-то его наставляли, зажил по своему образу и подобию и тотчас почувствовал себя выше, умнее, чем его считали дома и чем порой он сам себя считал. Этому просветлению, конечно, способствовала большая удача в работе — та безымянная курочка-ряба, которая, ничего не зная, снесла для сообразительного фруктовщика золотые яйца.

С целины он вернулся другим человеком — хозяином жизни, главой семьи. И хотя по письмам Надежда Львовна догадывалась о перемене, но думала, что это, так сказать, рожденное жизнью в далеком, необжитом крае. Нет, это продолжалось и в Москве. На второй или третий день по приезде он сказал, как об уже решенном, обдуманном:

— Надо строить дачу.

Она удивилась: какую дачу, на какие деньги? Он объяснил: у него на примете есть дачный кооператив, а деньги не сразу же все...

— Да, но все-таки надо много...

— Я должен получить большие премиальные... Кроме того, я привез же с собой. На первые взносы хватит... А может, и не на первые.

Да, конечно, не только на первые — курочка-ряба снесла столько, что сразу можно было бы оплатить небольшую кооперативную дачку, но лучше сослаться на какие-то будущие премиальные, а половину курочкиных даров отложить в резерв.

И по прошествии времени дача стала строиться. Эти дни и месяцы запомнились Надежде Львовне как расцвет, зенит хозяйственной деятельности Федора. Все свободное время от службы, а то и покидая ее

(старинное, безотказное: «Директор поехал на базу») он — в помощь кооперативным усилиям — хлопотал, доставал, продвигал, составлял, согласовывал, отгружал, поручал, дополучал и доукомплектовывал все материалы и товары, нужные для дачного строительства. Конечно, что получше и попримятнее — dobroхотные помощники этим и вознаграждаются — шло на его дачу. Да и сама она побыстрее строилась.

\* \* \*

Под этот хозяйственный взлет и парение Федора произошли и другие события. Вернувшись в Москву и поработав то там, то здесь, он вскоре получил интересное место («Товарищ ведь с целины приехал!») директора мехового магазина — тихое и красивое пристанище с черно-бурыми лисицами и баргузинскими соболями. Впрочем, тихое, пока не завозили ходового товара... И второе событие — уговорил жену уйти с работы.

— Ну, что у нас за жизнь! — все чаще говорил он. — Какой-то ералаш! Никого дома нет...

И жаловался на то, что у него на руках и магазин, и строящаяся дача, что, придя домой, он находит только усталую мать, что у жены какие-то педсоветы, совещания и консультации, что Ксюшка торчит у ворот и, как все теперешние домработницы, норовит перебежать на производство...

Он и раньше заговаривал, не уйти ли ей с работы, заняться домом, но обычно высказывал это робко, предположительно, не объясняя, зачем это нужно, или выставляя душевные доводы: они, видишь ли, бывают вместе, в сущности, только по воскресеньям, или ссылаясь на то, что вот у Марфы Васильевны уже не те года, чтобы одной вести дом. Сейчас же на возражение жены он сказал ей прямо:

— Ну пойми, к чему твои шестьсот рублей, если домработница с питанием стоит не меньше!

Время от времени Надежда Львовна встречала женщин (особенно позже, когда дача была готова, дебелых дачниц), которые с гордостью говорили:

«Меня муж снял с работы». Это почему-то считалось таким благодеянием, которым можно было закрыть любые семейные невзгоды. Когда же Надежда Львовна спрашивала: «А как же ваша работа? Вы же специально учились, любили ее?..» — на раздобревшем, как бы сонном лице собеседницы появлялось какое-то движение мысли и чувства.

«Да, конечно,— сожалительно говорила она,— но муж утверждает, что если не держать домработницу, то это будет одно и то же».

Нет, она не понимала этих молодых клушек-наседок, отказавшихся не только от любимого труда, но и от необыденных интересов, от общения с людьми, с чем связана всякая работа. И этот дурацкий, непоколебимый довод о домработнице!..

Но случилось так, что именно это-то, ею осуждаемое, она сама же и сделала.

В грубой силе есть какая-то своя убедительность. В другой раз видим: сидит за зеленым столом с могучей кафедральной чернильницей нечто дремучее, а около него, поддакивая и соглашаясь, стоит милый, деликатный, с одухотворенным лицом человек. Нет, не холопство у него в глазах, не умиление, а сознание, что с дремучим и он и другие работают уже не первый год, что с ним, хочешь не хочешь, считаются, ибо у дремучего есть деловая, практическая хватка, а другой раз бывают и разумные мысли.

Такой действующей силой в Федоре оказался тот самый х о з я й с к и й тон, который у него появился еще в письмах с целины и который окреп, утвердился после его возвращения из дальних краев. От бывшего воспитанника ничего не осталось — он распоряжался, командовал, устанавливал, что хорошо, что плохо, что белое, что черное. И везде была удача: и со службой, и с постройкой дачи, и дома.

И Надежде Львовне, невольно захваченной этим восхождением в гору, показалось, что уход ее с работы будет тоже к лучшему, к удаче. Была, правда, и другая причина — ей в этом году дали десятые классы, которые требовали большой подготовки,— но она,

конечно, преодолела бы это, если бы не настоящие мужа, если бы не предположение, что все будет к лучшему.

4

Но это не было к лучшему. Оставив работу и бывая теперь больше дома, чаще видя Федора, она пристальнее взглянула на жизнь и уже бесповоротно утвердилась в том, что разные они с Федором люди, разные у них интересы... И уже окончательно отошли всякие упования что-то изменить в его натуре. Тут, может быть, больше всего сказался ее уход с работы: он теперь первая персона в доме, а жена, так же как и мать, лепятся около него, существуют при нем...

Что же касается самого Федора Трофимовича, то уход жены с работы тоже ничего ему не дал. Дело было, конечно, не в тех шестистах рублях, которые освободились после увольнения домработницы и которые уравнились пребыванием Надежды Львовны дома, но и то благоденствие у домашнего очага, о котором мечтал Федор, не принесло ему удовлетворения.

Да, откинутая теперь школьная суета с педсоветами, консультациями, всякими совещаниями и появившиеся вместо них хлопоты по хозяйству (прекрасные хлопоты!) приближали жену к той настоящей, правильной жизни, к тому образу и подобию, который был мил сердцу Федора. Но надо ли это было ему?

В исчезающей любви часто одно принимается за другое, причина за следствие. Кажется, что если разочаровавшаяся женщина или разочаровавшийся мужчина перестанет громко смеяться, или перестанет спать после обеда, или перестанет носить желтое платье или какую-нибудь дурацкую соломенную кепку и так далее и прочее — что не нравилось, что раздражало, то любовь тут же и восстановится.

Нет, конечно, ничего не восстановилось, ничего не изменилось с отказом Надежды Львовны от любимой ею — и ненавистной ему — работы. И убывающая — а может быть, уже и ушедшая — любовь сделала свое обычное дело: привела новую...

У Федора, как и у многих людей, чувство началось с сильного внешнего впечатления.

...Первое, что увидел он у кассирши Сюзанны Ивановны, — это руки: мощные, округлые, с нежной золотисто-розовой кожей. Она плавно, как в танце, двигала ими, перенося их с пластмассовой зеленой тарелочки, на которую покупатели универмага клали деньги, до громающей, усеянной кнопками кассы. Потом — шею. Тоже полную, литую, переходящую в туго затянутую в серебристый трикотаж грудь. Они так и сидели друг против друга, соприкасаясь мощными формами: бюстоподобная никелированная касса «Националь» и полная, крупная, тоже серебристого цвета, кассирша.

Разглядел Федор и лицо. Сероглазое, обрамленное мелкими желтыми кудряшками, с небольшим — от пудры будто бумажным — носиком, и полные, румяные, манящие губы...

Не видя, Федор подал деньги, чек и медленно, тоже не видя, потянулся за сдачей... Получив покупку и обратясь к прилавку спиной, стоял не двигаясь — тут открылась новая красота. Было жарко, и кассирша распахнула дверцу своего стеклянного теремка, и он увидел крутые, сильные бедра, толстую, красивую ногу...

Федор Трофимович зачастил в универмаг — то одно надо купить, то другое... Сперва улыбнулся ей, потом заговорил. Говорить было трудно: мало того, что приходилось сгибаться к полукруглому кассовому окошечку, но еще и, задевая кавалера по носу, протягивались туда же чьи-то руки с деньгами и чеками. Нет, царевну надо было вывести из стеклянного теремка...

И вскоре вывел, стали встречаться — благо и универмаг и меховой магазин Федора закрывались в одно и то же время.

Сюзанна Ивановна оказалась вдовой заведующего. Так было правильно назвать покойного, ибо специальности у него никакой не было, а заведовал он

то протезной мастерской, то булочной, то химическим складом, то кинотеатром...

От этих трудов накопились кое-какие деньги, и заведующий, уходя от московской тесноты, вознамерился было построить небольшую дачку, но средств, увы, хватило только на дощатую времянку. Стал хлопотать о рассрочке, о дотации, о разделении пая, но, так и не выхлопатав, перешел в лучший мир. Сюзанна Ивановна, оставшись одна и забросив все житейское, суетное, в том числе и времянку, вся отдалась тоскливому, просто непереносимому чувству одиночества. Добрые люди посоветовали: чем сидеть кукушкой дома среди четырех стен, лучше выйти на народ, взять работу. И она поступила кассиршей в магазин.

Через год около ее стеклянного, но напоказ всем уединения и стал похаживать некто немолодой, но статный, представительный...

...Федор Трофимович нашел в Сюзанне Ивановне ту женщину, которую, может быть, только потому не искал, не жаждал, что не догадывался о существовании подобной. Тут было как бы осуществление всех идеалов. Их было немного, но зато все они оказались налицо. Во-первых, новая любовь была в хорошем, обольстительном теле; во-вторых — как оказалось позже — работающей, расчетливой хозяйкой; и, в-третьих, — может быть, самое главное — чувствовала и почитала превосходство Федора во всем: в уме, в сообразительности, в житейской хватке, в таланте жить и процветать.

Тут, конечно, не было и намека на ученика и учительницу, — что еще не так давно существовало у Федора дома, — его не наставляли, не поправляли и даже не сносили молча его командование и распорядительство, как было теперь дома с женой, — наоборот, глаза доброй, послушной Сюзанны Ивановны смотрели на Федора Трофимовича с восторгом, с обожанием; все поступки и мысли его были умны, правильны, прекрасны...

Однако, несмотря на все это, Федор не спешил расстаться с Надеждой Львовной и начать новую жизнь с Сюзанной Ивановной. Тут сказывалось время

накоплений. По существующим законам, при разводе он должен был все благоприобретения разделить с прежней женой пополам. Будь он рядовой учрежденский старатель, у которого ни кола ни двора, а только необходимое для жизни, — все было бы просто. А тут дача, машина, обстановка — страшно было подумать... В памяти живо еще стоял случай с дачей Евстигнеевых. Перессорившиеся, дошедшие до бешенства супруги наняли двух дюжих мужиков, и те, взобравшись на крышу со страшной, повизгивающей продольной пилой, осенили себя крестным знамением и, поплевав на руки, перепилили злосчастную дачу пополам: крыша, стропила, бревенчатые стены, окна — до фундамента... Конечно, у них с Надеждой т а к не будет, но все равно как-то придется делить...

И, всей душой отдавшись новому чувству, он все же отвел Сюзанне Ивановне приватную роль. Вечера в одном из переулков близ Таганской площади, которые бывали раз-два в неделю, проходили в бурном, будто молодом угаре.

## 5

Неожиданно пришло новое. Летом к Сюзанне Ивановне в ее таганское пристанище приехали родственники повидать Сельскохозяйственную выставку. Встречаться стало негде, и пылкая возлюбленная вспомнила про забытую времянку, оставленную ей в наследство з а в е д у щ и м.

В первый же свободный день они оба поехали туда, и дощатая времянка радушно приютила их.

...Лежали, смотря в потолок, оклеенный белыми, кое-где отставшими и пыльными обоями. Федор осторожно потянул руку, на которой покоилась голова в желтых кудряшках, и достал с тумбочки папирсы.

— А у тебя тут ничего! — сказал он, закуривая.

— Ну что ты! Все в запустении...

Ее удивило, что это говорит он, у которого — она знала — была образцовая дача.

Он не ответил, думая о чем-то. Не докурив, оделся и вышел наружу.

Обошел дачный участок — необработанный, необжитой, такой, каким отпустила его сама природа: то дерево, то кусты, то дремучая крапива. Постоял, покачиваясь с каблука на носок, с носка — на каблук...

— А у тебя тут ничего! — повторил он, входя во времянку. — Можно дело сделать... Скажи, бумаги на участок все целы?

Сюзанна Ивановна стояла перед зеркалом полуодетая, с платьем в руках. На ней было красивое голубое белье, которое он час назад, конечно, не заметил, но которое ей хотелось показать. Поэтому, надев белье, а платье держа наготове, она медлила, ожидая шагов Федора.

— Ах, отвернись, я сейчас оденусь! — сказала она, поворачиваясь лицом и показывая прелестную вышивку на рубашке.

Он обошел ее полное, но еще стройное тело и поцеловал сзади, где никаких вышивок не было, в голую, пахнущую какими-то анисовыми духами шею.

— Ой, щекотно! Какие бумаги? — Она озорно, подевчоночьи вскрикнула, поежилась, застенчиво поведя толстыми сильными плечами. — Ну, бумаги целы, а что?

С этого и началось. В этот день бегло, мельком, а позже — обстоятельно, посоветовавшись со сведущими людьми и уже держа листок с цифрами, Федор изложил Сюзанне Ивановне план действий: на ее участке надо построить дешевую, но достаточно объемную доходную дачку на трех-четыре летних съемщиков. Однако и зимой дачка не должна пустовать — со студенческими общежитиями все еще нехватка, и близость такой дачи-общежития к Москве будет соблазнительна для хозяйки какого-нибудь вуза. Тип постройки надо взять сборный — лучше всего было бы соединение двух финских домиков. И быстро, и дешево, и скорые доходы.

План был принят, оговорен (чьи расходы и как делаются доходы, чьи труды, чей участок и так далее), а также закреплен в нотариальных расписках, сущность которых фигурировала в общей традиционной, а потому безобидной форме.



Однако все получилось не быстро и дешево, а долго и дорого.

Люди, часто играющие в карты, утверждают, что есть счастье игрового дня: оно приходит с самого начала и, как сияние, весело, щедро возносится над игроком и держится до конца его игры; и наоборот — не пришло, и черный свет несчастья стоит недвижно, обреченно освещая взмокшие руки, угрюмый лик сегодняшнего неудачника.

Так вышло и у Федора. Насколько счастливо, споро и интересно для него шло создание собственной дачи, настолько тут, на новой стройке, все летело под откос, и черный свет неудачи озарял обломки крушения...

Началось с того, что участок оказался с высоким уровнем грунтовых вод и даже для неглубокого фундамента пришлось устраивать довольно сложный и дорогой отвод вод. Затем покупка двух сборных домов, которые Федор Трофимович намеревался достать через верных людей за полцены, как отбракованные, не состоялась: ревизия увела этих людей, и те в расстройстве чувств прихватили и уже полученные с Федора суммы, которые, впрочем, позже вошли в конфискацию. Пришлось доставать дома уже за полную цену. Но тут появился жучок-точильщик, которому понравилось это полноценное дерево, и он стал в нем вытачивать свои ходы-узоры. Потом — одно к одному — прораб оказался растяпой, затянувшим и потому удорожившим все дело.

Деньги текли — а Федор был главным вкладчиком в это дело, — и скоро пришлось тронуть целинные, отложенные. И еще раз, и еще... Кроме того, любовь у таких натур, как Федор, неслась по его жизни со стародавним купеческим ухарством — у Сюзанны Ивановны появлялась то та обновка, то эта. Потом опять та и опять эта. Так у возлюбленной было уже две шубки, не считая прежних; два одинаковых, с голубым камнем, золотых кольца; два патефона — синий и розовый; один — но совершенно ненужный — буфет с дубовыми колоннами; три разномастных кресла...

И пришел день, когда человек запустил руку в мешок, а там на донышке... И надо было думать о пополнении. И думать скорее! Сюзанна Ивановна могла подождать с дарами, а вот злосчастная, погибельная, но начатая и уже не останавливаемая стройка дачи требовала новых и неотложных жертвоприношений...

...Человек в дни одиночества вспоминает благословенное время любви; в дни неудач — удачливое время. Так мысли у Федора Трофимовича в поисках выхода из затруднительного положения пришли к целине, к курочке-рябе. Вот было время!.. Вот бы повторить! И он прикидывал: там был склад, тут — магазин... Будь у Федора побольше опыта в таких, делах, он бы увидел, что его курочке-рябе тут делать нечего: там, на целине, были скоропортящиеся фрукты, сейчас же у него в магазине — долговременные, не подлежащие никакому списанию чернобурки да соболя. И стал бы он тогда искать другой, более реальный, более осуществимый выход.

Но у Федора воображение далеко не залетало, и потому образ курочки-рябы, принесшей уже однажды ему счастье, все стоял и стоял перед глазами... Да, конечно, продать, обернуть дважды, трижды его теперешний товар нельзя, но тем не менее он упрямо держался мысли, что надо действовать не где-нибудь в чужом, незнакомом месте, а, как и тогда, на подведомственном ему поприще. Так ученики танцуют от печки.

И как только он выбрал поле деятельности — свой меховой магазин, — он стал действовать.

\* \* \*

Да, Федор Трофимович выбрал, назвал в душе это выбранное «смелым делом», но вот смелости-то и не хватало! На целине он был в хорошей компании, а сейчас надо идти одному — он даже Сюзанну Ивановну не мог в это посвящать... Все подготовлено, обдумано, и можно было в любой день, но хоть бы какой-нибудь локоть рядом, какой-нибудь подручный... А время не

ждет — на Сюзанниной даче от безденежья все остановилось.

С этими-то мыслями и приехал сегодня Федор на дачу. Он отмахнулся от слез жены, от ее рассказа о приходившей к ней молодой Щегольковой («А-а! Надоело!»), и Надежду Львовну удивило лицо мужа: темное, неподвижное, с каким-то затаенным блеском глаз. Они молча взошли на террасу, молча прошли над подпольным узником — изможденным, притихшим Ужуховым. Молчал Федор и за ужином.

— Завтра плотники небось ограду придут чинить! — сказала сыну Марфа Васильевна. — Как подряжались, в пятницу.

— Пускай...

Это тоже было необычно — Федор всегда и с удовольствием вникал во все хозяйственные дела.

После ужина он долго бесшумно ходил по потемневшему саду. Огни спичек, когда он прикуривал, вспыхивали то там, то здесь, будто метались...

Наутро Федор Трофимович уехал, как всегда, в магазин. Однако Ужухов, припав к своему глазку, увидел в хозяине что-то необычное — и в походке и в лице...

## Глава пятая

### ВНИЗУ

#### 1

На следствии Ужухова спросили:

— Скажите, на следующий день, то есть в пятницу двадцать пятого августа, когда Пузыревский утром уезжал в магазин, не заметили ли вы каких-либо приготовлений?

— Ну, как полагается, собрали ему на стол. Так что он попивши-поевши поехал.

— Нет, не о том... Не брал ли Пузыревский с собой чего-нибудь в машину? Ну, мешки, свертки какие-нибудь?

— Не видел... Нет, налегке сел и тут же уехал.

— Ну хорошо... После его отъезда жена отправилась на станцию за покупками, и, следовательно, мать Пузыревского осталась на даче одна. Почему вы не воспользовались этим временем? Вы так его ждали.

— А плотники! Хотя они и в стороне ограду чинили, а могли услышать.

— Значит, днем двадцать пятого вы не потому не осуществили свое намерение, что отказались от него, а потому, что вам мешали его осуществить.

— Точно!.. Они чуть не до вечера тесали и стучали.

Да, плотники работали до четырех часов дня, и Ужухову некуда была деваться от стука их топоров. Стук держал его в подполье, словно сторож с колотушкой, отгоняя воров, ходил вокруг. Кроме того, стук будил, тревожил затихшую было зубную боль...

Вчера поздним вечером, следя за Пузыревским, который показывался на темных дорожках то в одном конце участка, то в другом, Ужухов вдруг почувствовал укол в правую щеку. Не обратил внимания, но ночью ударила настоящая боль.

Как всегда, ничего не помогало — ни вода, ни водка, взятая на зуб. Сдернул с кирпичей, которые опять, как и в прошлую ночь, лежали в изголовье, меховую шапку и прижался щекой к холодному, шершавому камню. Нет, проклятого и это не брало! Тогда нахлобучил на себя шапку, по-зимнему опустил наушники, — может быть, тепло его утихомирит. Мучительно хотелось разогнуться, встать во весь рост; так и казалось: встанешь, и боль как рукой снимет...

Ужухов ворочался, метался в темноте, боясь вызвать шум. Уже думалось: черт с ним со всем — пускай накрывают, хватают, лишь бы дали каких-нибудь капель! А уж перед рассветом и совсем не вмоготу: ну просто вылезти, постучать в окно — хоть старухе в окно — помогите!..

И, как всегда, неизвестно почему, боль вдруг затихла. Да что там затихла — прошла! Бывает же такое счастье!.. На душе — паралик ее расшиби — парное молоко. Хочется вылезти из подполья, постучать

старухе в окно: «Бабушка, прошло! Понимаешь, прошло!»

Заснул крепко — кирпичи уж не кирпичи, а будто подушка на подушке, а на той еще подушка... А вокруг солнечная полянка, вся в землянике,— хочешь, лежи, а хочешь, встань во весь рост... Да что там в рост — подпрыгивай, подскакивай, сколько влезет, головой о потолок, не бойся, не стукнешься... Наверху то небо!.. Потом неожиданно-негаданно прикатила на полянку Аграфена Агафоновна, и тут вдруг все по-хорошему — ни решеток на машине, ни черного цвета, а просто «Волга», на которой Пузыревский ездит. И сама тетечка не базарная, не матерщинная, а будто благородная дамочка, что на витринах стоят: сублинная, тонкорукая, глаза с синей поволокой... Только свой темный платок, чтоб ее не разгадали, тетечка на себя накинула. Но тут ветер платком заиграл и темной бахромой по лицу витринной дамочки провел... Мать честная! Теперь это не тетечка, а Пузыревских старуха — серые, обвисшие щеки и глаза-щелочки. «Ты что же, милай,— шипит старуха,— сперва душить меня собирався, а потом насчет зубов ко мне прибежал!» И в щелочках-глазах угольки зажглись. «Не болтай зря, дура! — кричит парень на земляничной полянке. — Я только для остратки хотел, чтоб деньги из дома вытрясти!» Но тут старуха вытащила из «Волги» доски и стала над парнем низкий навес сколачивать — доска за доской, доска за доской, пока все не сколотила, пока темно, как в подвале, не стало. Но и этого старухе мало — сверху курей выпустила, и те стали «пышено» клевать, да так резво, громко, будто не по доскам, а по самому темечку клювами стучают...

Ужухов проснулся от мерного, дробного постукивания. Открыл глаза — нет, не над головой, не по темечку, а где-то в стороне. Звук был новым в этом мире, в котором Ужухов жил второй день, и он тотчас поднялся и заглянул в глазок — туда-сюда...

На краю участка плотники ладили новую ограду. Молотки вгоняли гвозди в тесовые планки один за другим, мерно и звонко пристукивая. Плотников было двое: один белобрысый, новый, а другой тот чернобо-

родый красавчик, который работал на соседней стройке.

«Налево решил подработать».

Ужухову было все равно: налево или не налево, но эта мысль привела другую: «Почему из остальных плотников с соседней стройки никто этим не прельстился? Совесть, значит, есть! Соблюдают».

В это время показался Пузыревский. Ужухов подумал, что по-хозяйски идет плотников проверять. Но он прямо к машине. И лицо серое, мятое, будто ночь не спал или на гулянке гулял,— такому бы опохмелиться, а не гвозди за плотниками считать. Одно понравилось в нем: сиреневый костюмчик, который он вчера как следует не разглядел. Ладный, дорогой и, как облитой, сидит, искрой на солнце играет...

После отъезда хозяина Ужухов только покосился на мешок с харчами — как бы опять не хватил зуб — и снова прильнул к глазку. Плотники по-прежнему, как дятлы, стучали, а когда смолкали, то слышны были, как и вчера, голоса женщин, находящихся в комнатах, и, как вчера, надо было сидеть у глазка, не упускать из виду калитку и опять ждать и ждать. Голова от бессонной ночи чугунная, неупроорот, перед глазами какая-то муть...

И вдруг мысль: не надо! Ведь пока плотники не кончат, не уйдут, все равно сиди как мышь. Старуха-то в случае чего небось голосистая окажется... И сразу радость — пока что можно завалиться спать...

На дорожке по направлению к калитке, к станционным магазинам, показалась молодая хозяйка с сумкой, с авоськой — вот такую вчера весь день ждал... Но уже ни досады, ни злости — спать, спать...

## 2

На одном из кирпичных столбов, держащих дачу, горел красный, величиной с пятак кружок предзакатного света, прорвавшегося сквозь какую-то щель. Сверху, с террасы, доносились голоса, которые, пока он лежал еще в дреме, казались гулом. Сон отходил, и голоса яснее. Сейчас говорила старуха:

— Нет, он пил не по-теперешнему...— со вздохами скрипела она.— Вскипятил чайник, налил вчерашнюю заварку, хлебнул и убежал, как жулик... Нет, у него было все благолепно... Чайников алюминиевых и в помине тогда не было, а только самовар. Да и какой самовар! Например, с угольным душком или не бурлящий он не принимал. Сейчас же гнал обратно. Меня или Феклушу покойник гнал обратно. Или еще не любил, когда самовар что-нибудь напевал. Веселое-то они не напевают, а что-нибудь такое с грустью. Это значит вода перекипела и настоящего вкуса не даст. Да и примета есть такая. В общем, тоже гнал обратно... Нет, он любил, чтоб самовар был свеженький, горяченький, кипяточный — стоит, милай, на подносе и от жары, от удовольствия, что такой, сам подпрыгивает. Только пар столбом к потолку... Вот тут мой покойник, Трофим Матвеевич, начинает сам чай заваривать. Тоже не просто заваривать, не по-теперешнему — в холодный чайник.

— Марфа Васильевна («Это голос молодой — вернулась из магазина»), есть такая шутка: «Какой теперь кипятки! Вот в старое время был кипятки, так кипятки!»

— Чего?

— Я говорю, не скучно было жить вашему Трофиму Матвеевичу?

— А чего скучать? Люди жили в полное свое удовольствие. Когда мы в Кинешме проживали, то на летнюю жару для чайного прохладения у Трофима Матвеевича был устроен нарочный подвал... Стены льдом обложены, а в середине, под лампой, стол для самовара. А еще одна чашка, одна стула — только для себя. Никого лишнего сюда не пускал, чтоб лед на стенах зря не таял... Ну, разве приглашал кого из купцов поважнее. Какую-нибудь первую гильдию с медалями, чтобы поразить, чтоб пыль в глаза пустить. Сам-то он третьей был — невеликий купец, — а первую, конечно, удивить ему интересно было. Тут он уж льда не жалел, пусть от ихнего дыхания тает...

— А вас с Федором пускал?

— Не пускал... Да мы сами понимали, не ходили...

Раньше, Надежда, все копейку берегли. Может, мы там с Федей льда-то растаем-надышим всего на грош, а это тоже деньги. Феденька по малолетству не очень это смыслял, все рвался в ледяную комнату. Ну, отец разок высек его, и он все понял — зря копейку не губи!

В это время на ступеньках террасы загремели сапоги.

— Ну, хозяйки, принимайте работу!

Это дятлы, которые наконец кончили стучать. Женщины пошли на участок вслед за плотниками, и Ужухов остался в какой-то гулкой и темной тишине.

«Весь день дуриком!..»

И верно: ночью метался от боли, а днем спал. Еще эти дятлы... Молодая сегодня, конечно, больше никуда не отлучится. Чего же ждать?.. Корешки говорили, что бывает лежка и по три дня — дело такое норовистое... Ну нет — мерси, спасибо! Да и жратва на доннышке. Так что же, дожждаться темноты и смываться несолоно хлебавши?

Отпустив плотников, женщины вернулись на террасу. Молодая, видно, чем-то уязвила старуху — не то еще на террасе, не то сейчас, по дороге, и та стала оправдываться:

— Жили, говорю, не так, как теперешние, а в полное свое удовольствие! — скрипучим голосом говорила старуха. — Не только он, но и я тоже... Теперешняя жена после службы бежит какую-нибудь битую птицу покупать, потом целый вечер суп на завтра варит... А я, когда вышла замуж за Трофима Матвеевича, целый день на диване лежала, и передо мной только коробка с монпансье-конфетами... Никаких забот-хлопот, была у мужа на полном его вожделении. А теперь что?..

Молодая хозяйка чему-то засмеялась.

— На иждивении, Марфа Васильевна... — сказала она. — Вожделение — это другое...

И опять засмеялась.

— Ты чего? Ты что над старухой надсмешничаешь?

И она, осерчав, не слушая успокоений невестки, — видно, натерпелась! — начала честить ее и так и сяк.



Ужухов, привыкший среди дружков к снисходительному «бабы-дуры», плохо слушал перебранку, вспыхнувшую у него над головой. Да и свои заботы были: хотелось жрать, но боялся зуба, хотелось убраться к черту — устал, все надоело, но как сделать, чтобы не ждать ночи... Однако наверху что-то изменилось: уж не два голоса, а один, а второй — только всхлипывания.

— ....Не ту жену Феденьке надо было! Не ту! — долбила старуха. — Не фордыбачку, не указчицу, а помощницу, чтоб все в дом да в дом... Это верно, я на диване с конфетами лежала, но когда? Пока дашки-парашки были. А как революция подступила и все языком слизнула, я как засучила рукава, как начала шуровать! В шесть утра я уже на базаре, чтоб морковку с капустой дешевле на копейку купить... А у тебя разве дом на уме! Тебе бы только Феде перечить, только бы свою самостоятельность, свою дурь показать! Вместо мерси-спасибо ему одни твои фантазии... Живешь, как куколка, на всем готовом, а в ответ что? Еще над старухой матерью смеешься. А сама-то ты кто такая? И где только тебя, золото такое, Федор отыскал? Ведь с мамашей за ситцевой занавеской жили, одну корку хлеба пополам ломали... Как же, слышала!

В это время старуха, видно, зашлась от ярости и остановилась передохнуть. Молодая сказала что-то тихим голосом — Ужухов не мог разобрать, но старуха выкликнула:

— Не уйду!

Молодая повторила, и опять тихо, но уже раздельно:

— Выйдите вон!..

И что-то грохнуло над головой Ужухова — какая-то посуда — и осколки запрыгали по доскам... Пыль выбилась из щелей пола-потолка и мутным облачком стала опадать. По ступенькам террасы загревели испуганные шаги и, прильнув к глазку, Ужухов увидел старуху, быстро семенящую к калитке. Хлопнула калиткой — и через дорогу к соседке: не то спастись, переждать, не то жаловаться на невестку.

«Вот тоже дура! Зачем об пол?»

Ужухов однажды видел в кино, как женщина, осерчавав, ударила тарелкой об пол... Это его тогда удивило. И сейчас — зачем? Надо бы тарелкой или миской запустить в эту самую старую ведьму... У своего глазка, когда заметил бегущую старуху, он даже как бы подался вперед — вылезти бы, догнать да как следует... Жизнь у него была не сладкой, и в этой жизни повелось ничего безнаказанным не оставлять. А тут, смотрите, черепки — себе же убыток! — а эта стерва сидит сейчас у соседей и ухмыляется, что извела, довела невестку...

### 3

В наступившей тишине почувствовал, как проснулся голод. Но тут же — и прошлая проклятая ночь...

«Эх, была не была, попробую».

В темноте, на ощупь нашёл свой мешок с остатками харчей. Тишина вокруг была такая, что слышно, как прошуршал мешок по земле. И вдруг вспомнил: «...Пустая дача, она одна. Не старуха, так молодая, все равно одна».

...В любое, даже злое дело входит душа. Не хитро — если уж на это пошел — встречному неизвестному сказать на темной улице: «Отдай!» — ведь и тот и другой только что появились и тут же сгинут. Но здесь! Ужухов представил, как вылезает из подполья, как неслышно и страшно он вдруг возникает перед Надеждой. Нет, она не одна, и она не встречающая — с ней вместе несчастная судьба, попреки в куске хлеба, муж-дубина, свекровь-ведьма, а теперь, оказывается, еще и ситцевая занавеска была — бедность... Нет, тут «отдай» в горле застрянет.

Осторожно прислушиваясь к большому зубу, положил пол-ломтика своей мраморной бараньей колбасы на правую, здоровую сторону. Потом, так же осторожно, — кусочек хлеба, но хлеб был черствый («Вот уж сколько я тут сижу!»). И он его предварительно обмакнул в бидончик с водой. Так повторил раза три-четыре, — ничего... Еще и еще — уже посмелее.

И вдруг заныл... Нет, не как ночью, но заныл. Выплюнул хлеб, взял на щеку воду — легче. Но вода согрелась и сквозь нее — боль. Взял новую воду...

В этой возне среди подпольной темноты — нудной и мучительной — только один огонек: все лягут, затихнут, и тогда скорее к черту, на волю, в аптеку, к зубодеру...

— Федя приехал?

Это ведьма вернулась. Спрашивает громко, будто ничего не было, но на ступеньке приостановилась, боится входить на террасу: а вдруг невестка одумалась, за ум взялась и теперь не об пол, а в нее, ведьму, тарелкой запустит?

Но ей никто не отвечает, и она, поднявшись на террасу, настороженно проходит внутрь дачи. Оттуда доносятся короткие: «Федя», «Федор», и Ужухов, выплевывая согревшуюся воду и беря глоток холодной, вдруг вспоминает, подносит запястье к глазам. Часы не видны, светятся только стрелки. Вот это да! — уже одиннадцатый час вечера. И он тоже, как те<sup>е</sup> верхние, удивлен: хозяин давно должен был приехать. Задерживает, черт! Пока не приедет, пока все не улягутся, не смоешься из этой могилы...

Где-то поблизости раздаются возбужденные голоса, и Ужухов бросается к глазку. Там темно и черно, как и тут, в подполье, но потом проступают — совсем уже черные — стволы деревьев на краю участка, ограда, а за ней — черные силуэты людей с запрокинутыми головами.

— Летит! Летит!..

— Где?

— Вот...

Ужухов быстро пригибается перед своим глазком, чтоб тоже — на небо, на спутник... Но ни черта не видно — в эту дырку и верхушки деревьев не показываются!

От резкого движения боль ударяет в зуб, и он, мыча, чертыхаясь, схватывается за воду, за бидончик, в котором уже на донышке... И пока боль отпускает, успевает подумать, что вот люди радуются, а он тут как пес подзаборный... И даже не это, а то, что им от

этого полета ни тепло, ни холодно, а они все же вот собрались вместе, вместе долдонят, показывают... Значит, дело такое, что все, не сговариваясь, в кучу, а он один...



Хозяин провалился, загулял, черт! Ужухов проклинал его — давно мог бы смотаться, а из-за этой дубины горел свет во всех окнах, женщины не спали, ждали... Старуха все время шлялась через террасу к калитке и смотрела, дура, на дорогу, будто от этого скорее сыночек вернется.

Вода кончилась, и теперь за неимением другого он прикладывал к щеке пустой бидон. Тонкий металл — только что холодный — быстро нагревался, и Ужухов вертел, будто выслушивал бидон, ища в нем прохладного места. При переворачивании настырно брякала бидонная дужка — это могли услышать, — а в темноте поймать, придержать ее было трудно.

...Около двенадцати ночи хозяин наконец заявился. Ужухов, затолкав все свое имущество в мешок, сидел уже не у глазка, а наготове у полупритворенной дверцы выхода. Скоро затихнут шаги, голоса — и на волю... Бидон был уложен, и Ужухов теперь время от времени сквозь полусжатые зубы, чуть присвистывая, потягивал воздух. Холодная струйка охлаждала, как-то успокаивала зуб.

Нет, в доме не затихало. Женщины в комнатах, собирая ужин, гремели посудой, но голоса Пузыревского не было там слышно. Ужухов заглянул в полупритворенную дверцу, — оказывается, хозяин еще возился около своей «Волги». Вгляделся: тащит из машины какой-то мешок, в сарайчик, а там дверь открыта, висит фонарик, и хозяин заталкивает мешок куда-то вниз... В его движениях что-то чудное, знакомое — не тот спесивый дородный дядя в дорогой сиреновой тройке, а... Ну да, тетечка Аграфена Агафоновна! Хоть та была и баба, а похоже — тоже так вот, ужимаясь, неслышно, как тень черная, прятала, бывало, добытое добро в кладовку....

Жена, наверное, заждалась с ужином и вышла по-

звать мужа. Она подходит к нему, когда он несет мешок в сарайчик и не видит ее.

— Федор, ты скоро?

Хозяин быстро обертывается на оклик, в звездном свете блестят его глаза, а руки — туда-сюда, будто не зная, куда девать мешок: нести, спрятать, бросить?..

Так тоже было: раз Аграфену за таким делом окликнули — она чуть не грохнулась...

Наверно, Надежда замечает и этот мешок, и руки, и то, что муж, как тень черная, шарахнулся. Она — к нему, но видит что-то в машине и — туда. А там еще мешок.

— Что это? Откуда это? — Из разворошенного мешка что-то лезет, пышно клубится. — Что это? Зачем это?

Она, бедная, все уже понимает — не по мешку, а по мужнину испугу, — но, точно без памяти, твердит свое: что это да что это?

Хозяин, отбросив свою ношу, налетает на жену, вырывает мешок.

— Оставь! Не лезь!

Но она опять за мешок.

— Откуда это?.. Что? Говори! И почему тут яма?..

Они, борясь, подаются в сторону, и Ужухов, чтоб видеть, скорее дверцу пошире, но опаздывает: отброшенная хозяйка уже летит на траву...

На шум выбегает старуха. Пузыревский цыкает и на нее: «Тише, вы!», но старуха с причитаниями набрасывается на невестку.

Зуб свербит — Ужухов забывает тянуть воздух — и от злости: «То в дом боялась войти, теперь счета сводит!»

Надежда поднялась, но не уходит. Белое платье на черной зелени не шелохнется, но, видно, дамочка сама не в себе, кипит.

— Если ты сейчас... — шепотом, но отдельно говорит она. — Если сейчас мне не объяснишь, то я... позвоню...

Хозяин подбегает к ней, замахивается. Ведьма — сына поддержать — тоже с кулаками...

И тут Ужухов нежданно-негаданно отшвыривает дверцу подполья и выскакивает на волю. Ночной ветер в лицо, тело наконец-то разогнуто в рост — счастье! Но внутри всё горит:

«Шпана! Двое на одну!»

И с ужимистой, на носках, неслышной, а потому страшной походкой — той походкой, с которой ребята на окраине налетают на обидчика, — приземистый Ужухов сбоку подскакивает к дородному Пузыревскому и быстро, незаметно — как и полагается в настоящей подножке — выставляет сзади него правую ногу и наотмашь бьет его по лицу. Тот, ища опоры, подается назад, но запинаясь и столбом, грузно валится на гравий...

Все пришептывая, будто перед кем оправдываясь: «Шпана! Двое на одну!», Ужухов хватает свой легкий мешок и, удивляясь, что сзади ни шума, ни погони («Верно, с непривычки опупели!»), неслышно, бестелесно, как тень, только из-за зуба чуть присвистывая, проскальзывает в калитку и исчезает в ночи.

## Глава шестая

### НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ДНЯ

#### 1

Пастухов Яков Петрович — заведующий овощным магазином на Б-й улице в Москве — был весельчаком, балагуром и однажды за буфетной стойкой поспорил с приятелем, что узнает любой магазин с завязанными глазами, узнает, чем он торгует. Тут же было нанято такси, которое медленно стало объезжать магазины. С завязанными глазами, поддерживаемый приятелями, как архиерей, под локотки, Яков Петрович входил в дверь и почти с порога, на удивление всем, объявлял, какая здесь торговля. Спор был им выигран, и Пастухов тут же объяснил:

— Да по запаху, братцы! Очень просто! В хозяйственных товарах пахнет, понятно, олифой, в кондитерских — ванилью, в мануфактурных — ситцевой

краской, в обувных — кожей, в галантерее — тоже кожей, но особой... А в последнем магазине, куда вы меня ввели, ничем таким не пахло, и это, конечно, ювелирный! Золото и бриллианты не имеют аромата...

Вот этот-то знаток торговых ароматов и был удивлен утром двадцать шестого августа, когда, сняв запоры, вместе с продавщицами вступил в свой овощной магазин. Это пахучее заведение сейчас, в конце августа, у левых прилавков благоухало яблоками, у правых — свежей капустой, петрушкой, сельдереем. Удивило, конечно, не это, знакомое, ежедневное, а новый, какой-то чужой запах, чуть кисловатый, с горчинкой, который всеведущий Пастухов определил как в е щ е в о й (но что именно, он сказать не мог), что, конечно, было противоестественно для продовольственного магазина.

Любопытствуя, добродушно поблескивая веселыми глазами, он стал обходить, приглядываться к полкам, ларям, прилавкам. За ним следом ходили три продавщицы, по молодости лет довольные тем, что можно пока не надевать свои унылые клеенчатые фартуки и не становиться за прилавок, а надо вместе с заведующим выискивать какой-то таинственный запах, который, по правде говоря, они не очень-то чуяли.

— Вот здесь, Яков Петрович,— сказала толстенькая продавщица Маша,— будто слышнее, будто запахом больше тянет.

И тут между ларями с капустой и с картошкой все увидали пролом в стене...

Ну, уж это было событие! Это уж не запах, который мог почудиться, а...

Пастухов, только что с добродушно-озабоченным видом обходивший свое заведение, быстро обернулся к девушкам, и те увидели на его еще более порозовевшем лице остановившиеся глаза.

Но тут же он стал действовать. Приказал первой только что вошедшей старухе-покупательнице удалиться; на дверь — щеколду и табличку рядом «Закрывается»; продавщицам — отойти от пролома и не ходить, не следить по помещению («Чтобы все было в точности! — на ходу выкрикнул он. — Сейчас это не

торговая точка, а место преступления!»). А сам побежал к телефону.

Пока поджидали людей из уголовного розыска, девушки-продавщицы, загнанные Пастуховым в дальний угол магазина, испуганно переговаривались:

— Не за капустой же к нам лезли? Не за картошкой?..

— А яблоки? Десять рублей кило!

И тут поднимались на цыпочки, вглядывались в наклоненные ящики с яблоками, стоящие в дальнем конце магазина.

— А персики? Двенадцать рублей. А сливы?

— Ну, сливы не станут — шесть рублей.

И смотрели на персики. Нет, все было цело. Во всяком случае, отсюда, из угла, так казалось.

— Погодите, погодите, девочки! А кладовка! Может, из кладовки?..

Вернувшемуся от телефона Пастухову не терпелось возразить.

— Балаболки вы! — Это обращение при таких событиях было не обидным. — Не к нам ведь лезли! А от нас. Вы посмотрите, куда пролом сделан...

Они было двинулись к дыре в стене, но он цыкнул на них — не ходить, не следить. Да, конечно, и не надо было ходить: меховой магазин... Ну да, раз пролом справа, значит, вор от них лез в соседний меховой магазин... И теперь поняли, что это за кислый с горчинкой в е щ е в о й запах — его через дыру натянуло от соседского меха и мездры.

## 2

Оперативный уполномоченный, приехавший с двумя сотрудниками, был молодой, голенастый, с девичьим румянцем на щеках, но хмурый, задумчивый. Пастухов, любивший даже в официальных отношениях домашний тон, почтительно осведомился о его имени-отчестве, и тот вместо ожидаемого простого «Володя» ответил: «Владимир Константинович».

Хмурым и задумчивым Володя был не от природы, а потому что ему, как и многим молодым специалис-



там, имеющим дело, связанное с появлением на народе, хотелось казаться опытнее, умнее, то есть старше своих лет. Это безобидное, милое и обычное притворство Пастухов так и понял и от доброты поддержал его. «Вы как полагаете, Владимир Константинович?» или «Вы как мыслите, Владимир Константинович?» — обращался он к нему.

Володя, вместе с помощниками обследуя место преступления — пролом, торговый зал, заднюю комнату, полагал и мыслил, но доброму Пастухову ничего об этом не сообщал, ибо именно так и поступал бы забываемый Леонтий Савельевич — в свое время учитель и наставник.

Однако, несмотря на эту необщительность, Яков Петрович видел, что молодой человек находится в каком-то затруднении.

— Меховой магазин открывается в одиннадцать? — спросил Володя, когда все осмотрел и обо всем расспросил.

— Так точно! — отрапортовал Пастухов. — Вы, конечно, желали бы взглянуть туда пораньше, сейчас?

Володя задумался, и, видно, по-настоящему.

— Нет, не желал бы, — не сразу и хмуро ответил он, и чувствовалось, что это-то его и занимает: сейчас или не сейчас. — До одиннадцати осталось всего сорок минут. Подождем! — неуверенно, но тоже с умным, задумчивым взором прибавил он.

Володя погрузился в долгое размышление, и вдруг все это с него слетело — хмурь, важность, задумчивый взор. Он озабоченно, уже, видно, осененный догадкой, снова — но теперь живо, нетерпеливо — подошел к пролому в стене, заглянул внутрь. Попросил у девушек-продавиц зеркальце и, на вытянутой руке высунув его, как перископ, в пролом, провел им по всей окружности, видя теперь дыру со стороны мехового магазина...

И тут будто сквозь угрюмые тучи ударил веселый, восхитительный луч солнца. Володя засмеялся. Хмурь сошла с его лица, на щеках с девичьим румянцем — вдруг ямки. Он быстро подошел к Пастухову.

— Простите, вас как зовут? — с непонятной веселой любезностью спросил он и, узнав, радостно проговорил: — Вот именно, будем ждать, Яков Петрович! Не сейчас, а будем ждать...

Впрочем, это был действительно только луч — хмурь опять заволокла Володино лицо. Он, видимо, понял, что его радостное оживление может кое-кого навести на кое-какие мысли, догадки, а он не хотел, не мог по служебному положению этого сделать. И Володя вернулся к личине умного, опытного и пожилого работника розыска.

\* \* \*

В меховом магазине повторилось то же самое, что и при открытии овощного: директор и продавцы вошли в помещение и почти тут же заметили неровный — но так, что мог пролезть человек, — пролом в левой стене, смежной с овощным магазином.

Поднялась суета. Часть продавцов бросилась к полкам, шкафам, чтобы установить пропажу, другие — к дыре в стене.

Володя вместе с одним из своих сотрудников зашел в магазин следом, и на них — из-за таких событий — не обратили внимания. Входя, он проверил, что табличка «Закрыто» еще висит на двери, задвинул засов и подошел к людям, столпившимся неподалеку от пролома.

Внизу пролома лежали вынутые кирпичи, и какой-то смысленный продавец приказал: ни к ним, ни к дыре до прихода угрозыска не подходить. Возбужденно, перебивая друг друга, продавцы говорили об одном:

— От нас лезли.

— Нет, к нам.

— От нас...

— Это что же! От чернобурок, от соболей полезли за капустой, да? Рубль кило! Да? Картина!

— Ты меня не выставляй! Я говорю, что вчера перед закрытием он где-нибудь у нас в магазине затаился, а ночью пробил стену и вылез в овощной! У них черный ход ведь на щепочку запирается!

У Володи тревожно мелькнуло: «Могло быть и так...» Недавно, когда он еще находился в овощном, с ним произошло важное незримое событие: он сменил одну версию на другую. Это было не так приятно: поверил, утвердился в одном, и вдруг новая версия, как луч, осветила все происшедшее, и ему все стало ясно. Он тогда засмеялся, он обрадовался, что перед ним такое простое, а потому эффектное дело. Но сейчас, услышав новый для себя вариант — вор, ища из мехового магазина безопасный выход, пробил стену и вылез через черный ход овощного, встревожился. Это опрокидывало его новую версию. Однако ненадолго: он вспомнил, что черный ход в овощном был закрыт не на щепочку. Но, может быть, тогда направляют его на ложный след? И он стал всматриваться в человека, который сказал это. Нет, ничего такого не было — светлоглазый, спокойный, рассудительный (это он распорядился не подходить близко к пролому).

— А могло быть и обратно! — наступал на этого светлоглазого худошавый, смотрящий исподлобья молодой продавец. — Обратно! Сперва он вынул в овощном эту щепку, а потом разобрал стену и влез к нам... С улицы-то к нам ведь ни один дурак не полезет. А ушел тем же щепным ходом, которым и вошел.

Кто-то сказал, что могло быть и так, но Володя про себя улыбнулся: «Вот этого-то уж никак не могло быть!» Он теперь крепко держался за свою новую версию, ибо она была, по его мнению, и правильной и единственной.

...Из заднего помещения магазина вышли трое. Володя догадался, что представительный человек с бледным озабоченным лицом, устало идущий впереди, директор магазина. Подойдя к своим людям, стоящим у пролома, директор сказал, кивая на двух пришедших с ним продавцов, которые, видимо, ему помогали, что похищено семнадцать чернобурок и шесть соболей.

— Почему-то из правого шкафа соболей не взял, — сказал он, грустно усмехнувшись, — а только тех, которые были вместе с чернобурками.

— Спешил, наверное, или не догадался,— заметил светлоглазый продавец.— А под стеклом, Федор Трофимыч, смотрели?

— Под стеклом тоже цело...— Директор кивнул на пролом.— Звонил... Оперуполномоченный уже выехал.

Володя понял, что пора представиться. Он шагнул вперед.

— Я уже здесь, товарищ директор...— сказал он, смущенно улыбаясь.— И не потому, что оказался сверхоперативным, а просто потому, что ваш овощной сосед,— он показал на пробравшегося в магазин краснолицего Пастухова,— раньше открывает свое заведение и потому раньше позвонил.

И он, попросив отойти, не загораживать свет, приступил к осмотру. Позади него продолжалось обсуждение происшедшего, что для него было, пожалуй, более важным, чем осмотр пролома, который он достаточно хорошо исследовал, еще находясь в овощном.

— Тут некоторые граждане безответственно выступают!— услышал он громкий обиженный голос Пастухова, голос, каким оправдываются на общих собраниях.— Будто у нас черный ход запирается черт те на что! Нет-с! Никакой там щепки не было. Запор там правильный и по полной форме...

— Это как предположение!— отозвался худощавый молодой продавец, смотрящий исподлобья.— В том смысле, что не строго. Кто за морковкой, за капустой полезет? Он-то не кролик был!

— Безразлично-с! Для нас, государственных служащих,— Пастухов все еще чувствовал себя, как на общем собрании,— все равно, что десять копеек, что десять тысяч рублей! Должны сохранять! Морковка! Капуста!— Он насмешливо гмыкнул.— А персики?

«Кому что!— весело подумал Володя, как заправский сыщик, в лупу разглядывающий края пролома.— У ювелиров на первом месте бриллианты и платина, а у этих капустников — персики!»

Весел он был потому, что тот самый луч догадки, который принес ему вторую версию, опять дал о себе знать. Луч лег на два чистых пятна (Леонтий Савельевич в свое время говорил о них: «Не только горя-

чая, но и очень холодная вода обжигает руку. Так и вычищенное пятно — тоже пятно!»). Правда, такие пятна призрачны: то чуть заметны — и то, пожалуй, только потому, что ждешь их! — то при каком-то повороте к свету и совсем исчезают...

Так и сегодня: то будто есть, то будто нет... Но они должны быть!

Еще поджидая в овощном открытии мехового магазина, Володя мысленно представил не только всю картину событий, согласно той последней версии, которую он принял, но увидел и подробности. Например, крошечные крупинки кирпича, которые попали проломщику стены под колени и были им, незаметно для него, раздавлены... Предусмотрительный вор мог разложить газету — он и это тогда представил, — но кирпичные крошки, пыль попали и на газету. И их потом пришлось счищать...

Это было еще в овощном, в воображении, а вот они и в действительности!.. Версия его, пугая своей простотой и отчетливостью, укреплялась все более и более, и Володя боялся сейчас только одного: не полетело бы все это к черту! Уж очень откровенно, настойчиво все идет одно к одному — не ведет ли его, мальчишку, кто-то хитроумный не в ту сторону?..

— Я тоже думаю, что тут дело не в щепке! — сказал осанистый директор мехового магазина, обращаясь к Володе, который, поигрывая лупой, отошел от пролома. — Но злоумышленник мог в одном из ваших подсобных помещений, — он посмотрел на Пастухова, — спрятаться за пустые ящики, дожидаться закрытия и потом начать разбирать стену, ведущую к нам...

Это была еще одна версия (не считая его — самой правильной версии), и Володя тут же в душе ее отверг. Однако выслушал ее со вниманием и даже как бы задумался над ней.

Пастухов же не принял этой версии, потому что она опять как-то задевала его магазин.

— Извиняюсь, — сказал он, сдерживаясь, но багровея, — никаких пустых ящиков мы в помещении не держим! Нам тогда не повернуться бы! Всю пустую тару мы выносим на двор-с! Да-с!

«Это удивительно! — подумал Володя. — Неглупые, видно, люди, а не видят главного. Говорят о каких-то дурацких ящиках! Разве в этом дело!..»

### 3

В чем же было дело?

...Привычное, знакомое, готовое влечет всех: и умудренных опытом, и таких молодых, голубоглазых, каким был Володя. Еще не доехав до заведения Пастухова, еще только садясь в машину, он, получив сведения в управлении о случившемся, уже составил быстрое, решительное мнение: раз пролом, то, конечно, лезли из овощного в меховой.

С этим он и приехал на место происшествия, с этим и начал осмотр. И все последующее держало его на этом, принятом заранее, на самом естественном решении. Это и было его первой версией.

Когда же ударил восхитительный луч, осенивший его догадки? Когда появилась новая версия, отбросившая первую? Тогда, когда он по-новому увидел, понял пролом.

Но это было потом. Сейчас же, приехав в овощной магазин и стоя у дыры, пробитой в стене, Володя видел, что вор попался не простой, а лукавый, себе на уме, — он решил обмануть его, Володю, и сделал, так сказать, обратный пролом, будто лезли не в меховой, а из мехового в овощной... Этот похититель мехов (о пропаже шкур Володя тогда еще не знал, но, конечно, догадывался) хочет убедить простаков, что он, тать ночной, не столько интересовался чернобурками и соболями, сколько морковью и репчатым луком! Даже вон для этого — не шуточное дело! — пролом сделал...

Установив, разоблачив эту хитрость, он не без гордости подумал о себе: «Ничего! Ничего! Справимся!»

Однако успокаивать себя было рано. Этот ночной молодец оставил после себя мудреные задачи, странности.

Первая — пролом сделан со стороны овощного магазина, а хода, которым злоумышленник проник в

овощной, не было. Сотрудники, приехавшие с Володей, установили, что ни черный, ни парадный ход, ни двери, ни окна не были потревожены.

Вторая странность. Предположим, что вор не проникал в овощной магазин, а еще вчера, во время торговли этого магазина, где-то тут затаился (о чем позже говорили меховщики). Но тогда получалось, что вор ночью, пробравшись через пролом из овощного в меховой и совершив там кражу, еще... не ушел на волю! Он прячется тут, в овощном, или там, в меховом. Но тут его не было, уйти же через дверь при открытии овощного магазина он тоже не мог, ибо входная дверь была тотчас заперта, и, кроме одной старухи-покупательницы, только что вошедшей и тут же удаленной, никто из посторонних в магазин не входил и не выходил. Это показали и Пастухов, и его девушки-продащицы. Подозревать же этих людей в общем сговоре не было основания.

Третья странность. Остается единственное объяснение: вор после кражи находится еще там, в меховом, или же нашел себе там дорогу на волю. Но первое предположение глупо: не будет же он ждать, пока его поймут, а на волю он тоже не вышел, ибо еще до открытия мехового магазина Володя попросил своих сопутствующих товарищей осмотреть в меховом все входы и выходы, и там тоже все было в порядке.

Как бы Леонтий Савельевич объяснил эти чертовы загадки? Вор был, пролом сделан, кража, как позже, конечно, выяснится, совершена, а как подлец-молодец вошел и как вышел — он не сообщил, ниточки не оставил. Володя даже на какую-то минуту опустил руки. Нет, первая готовая версия, с которой он приехал на место происшествия, еще держала его в плену. Нет, луч новой догадки еще не блеснул, и молодой следопыт хмурился непритворно — надо было по-настоящему поразмыслить.

Какие же выводы из этих бесплотных и бесследных появлений вора? И Володя за то время, что оставалось до открытия мехового магазина, налег на логику.

Первый вывод. Кража совершена — скоро будет известно — в меховом магазине, и это главная арена

событий. Помещение же овощного могло быть использовано вором только как путь в меховой.

Второй вывод. Как же он проник в меховой? Так как ни в том, ни в другом магазине не было взлома, выбитых окон и так далее, то несомненно, что вор пользовался ключами и проник в магазин, так сказать, нормальным ходом.

Третий вывод. А как ушел из мехового магазина с тяжелой поклажей? Естественно, тем же ходом, каким и вошел. То есть пользуясь теми же ключами.

Четвертый вывод. Но вот ключами от какого магазина он пользовался для входа в меховой, а потом и для выхода из него? Если бы ключами от овощного, то он, войдя в него, должен был бы пробить в стене ход, чтобы попасть в смежный меховой. Если же ключами от мехового, то, понятно, никакого пролома делать не надо, а прямо идти к меху...

Пятый, итоговый вывод напрашивался сам собой. Поскольку пролом есть, следовательно, вор пользовался ключами овощного магазина. Открыв его, он стал разбирать стену, смежную с меховым магазином. Сделав пролом, проник туда, забрал меха и тем же ходом — через пролом, через дверь овощного магазина (заперев ее за собой) — исчез.

Сама собой пришла мысль: не Пастухов ли? Ключи от магазина ведь у него! Подозрение, возникнув, все вокруг делает подозрительным, на все ложится его черный свет. Почему он так ласков, предупредителен с работниками угрозыска? Почему расспрашивает? Почему не позволил девушкам подходить к пролому? Может, не хотел, чтобы они нарушали его «обратного» вида?..

Но черный свет отнесло в сторону, и увиделся веселый, белозубый «вор-джентльмен», портрет которого висит в их специальном музее. Тот никогда не вырезал дверных замков, не портил ни дверей, ни окон — считал это пошлостью, — а, прекрасно чувствуя замки, открывал их набором ключей. Джентльменом же его называли за то, что, украв, он добросердечно и благородно закрывал за собой замок: «Чтобы, — как говаривал он, — какая-нибудь шпана не влезла бы



после меня». Ну, тот отбывает свое, но ведь могли быть ученики.

Мысли теснились у Володи, пока он, дожидаясь открытия мехового магазина (он не хотел лезть туда через пролом и тем самым как-то «портить» его), посиживал на табуретке в пахучем заведении Пастухова. Окруженный ароматами капусты, петрушки и сельдерея, он чувствовал себя как на огороде у тети Клавы на станции Удельная, но только там, покусывая морковку, можно было безмятежно лежать, смотря в небо, а тут надо было думать и думать...

Но он не знал, что луч уже пробивался сквозь хмурь...

Покуривая, Володя посматривал на пролом и вдруг увидел странное: вокруг пролома на штукатурке, крашенной светло-зеленой масляной краской, ни одной щербинки! Ведь, готовясь вынимать скрытые под штукатуркой кирпичи, проломщик стены неизбежно должен долотом то там, то здесь нащупать швы кирпичной кладки, которые он и будет долбить, освобождая кирпичи от цементного плена. А тут на штукатурке этих ощупываний-щербинок не было! Что же это? Как же это?

Он быстро, нетерпеливо подошел к пролому. Упираясь руками в стену, просунув голову в дыру, заглянул внутрь — в меховой магазин. Но, не увидев то, что ему было нужно, попросил у девушек-продавиц, сидящих группкой в углу магазина, зеркальце. Тотчас три руки, вынув зеркальца из своих сумочек, стали быстро смахивать с них пудру, протирать. Но, пошептавшись, девушки выбрали только одно зеркальце — покрасивее, с желтым ободком, и толстенькая Маша, пробежав через торговый зал, почтительно передала его Володе.

На вытянутой руке, высунув зеркало, как перископ, в пролом и ведя им по краю отверстия, Володя оглядел штукатурку со стороны мехового магазина, которая там была окрашена желтой краской.

Ну да! Щербинки были тут! Белые по желтому полю. Отсюда, из мехового, ощупывали швы кладки. Именно отсюда, из мехового, делали пролом!

А он-то!..

Он-то все время думал, что хитрый ворюга финтил, фокусничал — делал пролом под «о б р а т н ы й»! А пролом, оказывается, самый простой, «п р я м о й»... Как же это произошло?

При проломе стены кирпичи всегда вынимаются на себя. Это так же неизбежно и естественно, как дверь, открываемую «на себя», нельзя открыть «от себя», или как нельзя копать яму, не выгребая землю на себя, на поверхность.

И Володя, конечно, знал это. И, еще находясь в машине, еще по дороге к месту событий, он уже представил готовую, само собой напрашивающуюся картину: лезли из овощного магазина в меховой, от капусты к соболям, и, следовательно, вынутые при проломе кирпичи лежат на полу овощного магазина. Но, приехав к пролому, он увидел кирпичи не тут, а по ту сторону отверстия — в меховом магазине. Инерция предвзятого, готового решения была так сильна, что Володю это не смутило — тотчас пришлось этому объяснение: вор не простой, а изворотливый, и он для отвода глаз после пролома переложил кирпичи из овощного в меховой и устроил, так сказать, «обратный» пролом.

Это и было его первой версией, из которой он исходил и которая породила столько странностей.

И только вот сейчас щербинки на штукатурке мехового магазина выдали истинное положение, только сейчас Володя понял пролом.

«И как это я сразу их не хватился! Сразу же не увидел, что тут, в овощном, щербинок нет!» И Володя с горечью подумал, что далеко ему до опытного, умного оперативника, далеко до вершины — до Леонтия Савельевича.

Однако желанный луч блеснул, и хмурь с Володиного лица слетела, чело его прояснилось — веселый, прекрасный свет открытия озарил его. Он засмеялся. На щеках с девичьим румянцем — вдруг ямки. И еще радость: Пастухов, который ему нравился, теперь, оказывается, чист, невинен — ведь вор пользовался не его ключами, а ключами мехового магазина! И, не

зная, как замять бывшее подозрение, он подошел к Пастухову, ласково, весело заговорил с ним.

Однако не ребячество ли в его положении так явно высказывать свое настроение! Не наведет ли это кого-то на что-то... И он, насупившись, стал как бы оглядывать свой счастливый луч, свое открытие.

...Итак, главный вывод, что вор пользовался ключами, остается в силе. Только перемена: ключами не овощного, а мехового магазина. Но, пользуясь этими ключами, не надо было делать пролома в овощном. Но вор это сделал. Сумасшедший? Нет, глупый или неопытный, неумелый, но замысливший обмануть. Однако не в коня корм! Будь рядом ювелирный магазин, мануфактурный или хотя бы галантерейный — это как-то путало бы карты, не сразу было понятно, откуда и куда лезли. Но делать дыру к укропу и к картошке?!

Вот это и стало новой Володиной версией: несмысленный (но старающийся быть смысленным!) новичок с ключами от мехового магазина.

#### 4

Между тем в меховом магазине события шли узаконенным порядком: осматривались шкафы, из которых были похищены чернобурки и соболя; обследовались окна, двери; фотографировался в разных ракурсах пролом; производился опрос работников магазина: когда закрыли магазин, какие покупатели были перед закрытием, кто уходил последним, у кого хранятся ключи и так далее, — осматривалось, обследовалось, фотографировалось, опрашивалось.

Все это было нужно, узаконено, но Володе это казалось отцовскими к р у г а м и.

...Отец был давнишний книголюб, и во время нэпа, как он рассказывал, заглаживал к частникам-букинистам. Завидев желанную, долго разыскиваемую им книгу, он не бросался к ней опрометью, не спрашивал, задыхаясь, сколько она стоит — за такой бы полусумасшедший вид он бы дорого заплатил! — а с безразличным лицом ходил кругами вокруг своего сокрови-

да, прицениваясь к копеечным брошюркам, к аляповатым подарочным изданиям, ко всяким ненужным ему пустякам... Сделав несколько кругов, поманежив букиниста, он, не меняя голоса, даже позевывая, спрашивал и о ней: «Ну, а эта, Михал Михалыч, сколько стоит?» И покупал сокровище по сходной цене.

Так и Володя со своими осмотрами и опросами ходил кругами вокруг него.

Перед большой зеркальной витриной, около которой с внутренней стороны стоял Володя, шумела дневная улица, тяжело катили троллейбусы; ударяя в витринные стекла оглушительной дробью, пролетел мотоциклист... По тротуару у самой витрины, в которой красовались приподнятые чернобурки — будто драгоценные лисички по-собачьи «служили», — сновали прохожие... И никто не знал, что свои круги Володе надо оставить и идти к нему, к сокровищу. Надо, но было страшно. Страшно потому, что, несмотря на счастливый луч, несмотря на полную уверенность, — вдруг мимо? А если в точку, то будет страшно, но по-особому страшно — за произведенный эффект: такой молодой и так сразу открыл! Так ли это?

Он отворачивается от витрины, где он будто что-то осматривал, и хотя уже есть план действия, но озноб охватывает спину. Не дожидаясь, когда он пройдет, Володя на длинных и, как ему кажется, негнувшихся ногах идет через торговый зал к пролomu. Слава богу, Сергей — один из помощников, фотографировавший пролом, — уже ждет его. Значит, с этого можно и начинать.

Он берет из рук Сергея, как уславливались, кусок какой-то старой пленки и начинает пытливо рассматривать ее на свет. Там — лодочная пристань на Москве-реке и их сотрудница Катя, балансируя, идет по дну лодки. Володя знал и этот день, и этот снимок Сергея, но сейчас в негативе все было наоборот: темная лодка — белая, а белое платье Кати — черное... Все же Сергей мог дать ему из своих запасов снимок более, так сказать, служебный. Впрочем, кроме него, этого никто не увидит, а для древнего фортеля «ш а п

ка горит!», фортеля, который есть даже в детских сказках, это все равно.

Володя рассматривает снимок и так и сяк, многозначительно гмыкая, рассматривает, гмыкает до тех пор, пока не чувствует, что все сотрудники мехового магазина собрались у него за спиной. А это у них получается невольно: раз снимали, раз проявляли, раз рассматривают, значит, что-то предполагалось и что-то может быть обнаружено...

— Так... ну что же...— медленно и хмуро говорит Володя, опуская снимок и оборачиваясь.

Он находит глазами молодого, глядящего исподлобья продавца. Это не ускользает от других, и они тоже начинают на него поглядывать.

— Ну что же... мои предположения,— продолжает он,— еще раз подтвердились,— он кивает на снимок.— Вор, совершая пролом, стоял на коленях и, вынимая кирпичи, не замечая того, намусорил около себя... Ну, кирпичные крошки, кирпичная пыль... Когда встал, он обнаружил на своих брюках у колен красно-бурые пятна. Он принялся их отряхивать, чистить, но кирпичная пыль, знаете, въедливая, и следы остались...

Он резко поворачивается к директору и, не повышая голоса, но отчетливо:

— Да-да, гражданин Пузыревский, остались, и так просто ручкой их не стряхнешь!..

«Ура! — В Володе все внутри кричит.— «Шапка горит» сыграла!»

Осанистый директор, пользуясь тем, что все отвлечены, все косо поглядывают на молодого продавца, сделал неслышный шаг назад и, чуть нагнувшись, стал быстро теребить коленки на сиреневых брюках.

Володе, как молодому охотнику, хочется скорее подбежать, скорее уличить! Но незримый Леонтий Савельевич ведет его к цели не спеша.

— Я не совсем точно выразился! — учтиво говорит Володя, останавливаясь перед Пузыревским.— Сейчас кирпичных пятен нет! Вы их вчера хорошо вычистили. Даже слишком хорошо... И поверьте, если бы вы не

схватились за колени, я бы и не подумал, что они были...

Нет, эффекта — полного, загаданного — не получилось. Уличенный не затрепетал, не зашатался, не пал на колени.. Больше того — он просит оставить эти неуместные шутки о пятнах. Он даже, снисходительно улыбаясь, поведал, что у него дача, дача — это мучение, где всегда какой-нибудь ремонт, доделки, и все такие дачники имеют дело то с кирпичом, то с известью...

Доверие и уважение к словам взрослого, которое возникает у подростка еще со школьной скамьи, переходят и на молодые годы. Володя на какой-то миг усомнился положительно во всем, но только на миг — все, начиная с ключей магазина, находившихся у директора, до нелепого, неумелого пролома, говорило, что счастливый луч не зря тогда блеснул... Да, не затрепетал, не зашатался, но когда врешь, надо уметь управлять лицом, говорил в свое время Леонтий Савельевич, а тут и улыбка, и благородное негодование, а лицо белое, глаза испуганные и тоже какие-то белые...

Со стороны входной двери раздается настойчивый стук. Сергей идет туда и возвращается с молодой, раскрасневшейся женщиной. В руках ее черная лакированная сумочка с оборванной ручкой.

С быстротой, свойственной многим женщинам, она сразу и все замечает: и изменившееся лицо мужа, и некрасивую дыру в стене, и что-то выжидающих продавцов, и посторонних людей с какими-то ненатурально-спокойными, но осуждающими лицами. С тем же женским прозрением она из этих посторонних выбирает главного — высокого, нескладно сложенного молодого человека — и подходит к нему. Но, подойдя, молчит, нетерпеливо стараясь сцепить колечко оборванной ручки с колечком на лакированной сумочке.

— Вчера ночью...— Нет, колечки не цепляются, она, дернувшись, опускает, как бы отбрасывает сумочку.— Да, вчера ночью к нам на дачу привезли много меха... Да! Я хочу знать его происхождение...

На следствии по делу Пузыревского Ф. Т. Ужухов показал, что ночью с двадцать пятого на двадцать шестое августа, видя нападение двоих на одну, не утерпел, вылез из подполья и, оказав физическое воздействие на хозяина дома («Я хватил его по скуле и завалил с одного захода»), бежал прочь.

Дальнейшее развивалось так.

...В дачном поселке все было потушено, все черно, и только на платформе станции горели, покачиваясь, круглые фонари. Ужухов спросил в билетной кассе, где аптека,— оказалось, по ту сторону линии,— и, посасывая-присвистывая (зуб все терзал его), перешел рельсы и опять полез в темноту.

И аптека была потушенная и спящая. Ужухов застучал в дверь, поднял с постели сухонькую старушку в белом халате, и та, затеплив свет, дала ему сперва выпить пирамидон с анальгином, а потом протянула темный, пахучий от зубных капель комочек ваты. Он, стыдясь своих грязных рук, взял комочек и положил в дупло зуба.

Старушка стала выжидающе смотреть на него. А он — на нее. Все сейчас пропало, все сейчас отступило для них — было только одно: пройдет? не пройдет?

И вдруг — прошло...

— Ну, мамаша, спасли! Ну, мамаша, уважили! — приговаривал Ужухов, вертя головой и так и сяк, как бы пробуя, прочно ли исцеление.

Позвякивая своим мешком, в котором подавал голос пустой бидончик, он сбежал с крыльца аптеки под черное звездное небо, и сейчас не было человека счастливее его. И все вместе — и зуб прошел, и небо, а не пол над головой, и давнишняя охота разогнуться, подскочить... И еще что-то хорошее, что сразу не поймешь, только чувство, что здорово, фартово... Ну да, съездил этого меховщика, завалил как подкошенного... Нет, не это, а то, что заступился за хорошего человека.

«Да, заступился за хорошего человека!» — повторил он про себя.

И, натываясь на черные деревья и черные заборы, но радуясь этому, побежал к станции.

Все поезда, конечно, уже ушли, и Ужухов, выбрав у кассы тихий закуток с лавочкой, достав из мешка одеяло, с чувством вольного, свободного человека, у которого совесть чиста и дела прекрасны, заснул.



Место оказалось действительно укромное: и солнце поднялось, и люди сновали, а его никто не побеспокоил, не растолкал...

Спустил ноги с лавочки, сел, обтер лицо ладонями и огляделся.

Эта сторона была в тени, а там, через рельсы, все было в солнце, в народе, спешащем в Москву на работу. Сюда прибегали только за билетом, и тогда через стену билетной кассы слышался двойной стук компостера — дырк-дырк — и человек убегал.

Ужухов сложил одеяло, стал заталкивать его в мешок и тут вспомнил свое вчерашнее, легкое, свободное и какое-то чистое чувство, с которым укладывался спать. Сейчас понял — это было от зуба, который перестал мучить. А так чему же радоваться — вот он, мешок, одеяло, бидончик, с которыми он был там! Был, хотел, но дела не доделал... Народ сновал туда-сюда, касса выбивала билеты, от платформы только что отошла электричка с людьми на работу — на открытую, простую, безбоязненную работу, и он стал думать о том, что и он так мог бы... Тоже вот в кассу, тоже дырк-дырк — и отправляйся!

И чтобы душой присоединиться к этому люду, он стал ругать недоделанное дело: сидел, как пес бездомный, под полом, не смей шелохнуться, а на него опивки выплескивали! И получалось, не потому дела не доделал, что не было возможности, а потому, что не хотел его доделывать. А раз так, то и он может жить и кормиться, как вот эти, с билетами...

Бывают такие дни, когда надо, хочется утвердиться на какой-то фартовой, удобной мысли, но она не дается. Вот и тут... Вынул папиросу, начал искать,



охлопывать по карманам спички. И дохлопался до заднего, брючного кармана. А там что-то твердое, маленькое. Вынул, развернул бумажку — часы наручные... И сразу вспомнил давнишнюю поездку на электричке, руку с часами — с этими вот! — держащуюся из последних сил за вагонную перекладину... Вот это — да! Вот и присоединяйся к этим, с билетами! Раньше часы и часы — немудреный с л а м, а теперь гиря стопудовая, чтоб опять на дно... Можно, конечно, их в реку бросить и руки обтереть, но это не то...

Потянулся к соседу, чтоб прикурить, и вдруг, пристукивая каблучками по перронным доскам, — молодая хозяйка! По лицу Надежды — румянец пятнами, в руках лакированная черная сумочка с оборванной ручкой, а сама как во сне — ничего не видит, только кассу. Опять двойной дырк-дырк, и она уже там — через линию, к электричке на Москву...

«Ну вот, когда не надо! Наконец-то ведьма на даче одна!»

Но это не злит, не беспокоит — с этим в душе как-то уже покончено. Сейчас хочется вернуться к тому, что вчера, после зуба, было: легко, свободно, чисто на душе. И молодая хозяйка на той, московской, платформе как-то сейчас к месту, в масть. «За хорошего человека заступился», — повторяет он вчерашнее, и сам будто лучше, будто красивее. Но тут же и часы — гиря стопудовая...

Электричка на Москву укатила, платформа освободилась от людей, обнаружились зеленые скамейки, которых до этого не было видно, а за ними — пристанционный лужок на солнце с ползающей на четвереньках годовалой девочкой в розовом платье.

Эти четвереньки — но в темноте, в подполье — напомнили недавнее, и из недавнего последнее: узлы с мехом, вытаскиваемые из «Волги»...

«Стой, Василий! Замри! Другого такого случая не будет!»

Ну да, мало того, что сдаст гирю, а еще и пропавшее меховое добро государству вернет! Неужто к такому человеку без сочувствия?..

Поползав по солнечному лужку, девочка, качаясь на толстых, но еще не окрепших ножках, встала и принялась махать ручонками всем и всему: людям, уже опять набравшимся на платформе, солнцу на небе, траве на лужке...

Ужухов выкурил еще папиросу, переложил часы поближе, в боковой карман, и, насупившись, встал. Подошел к кассе — она была рядом — и почему-то громко, будто что-то подтверждая, потребовал билет.

Компостер и ему дважды, с отлетом, ухнул: дырк-дырк, — пробил тонкие, как иглой, дырки. Он поднял билет на свет: «26.VIII» светилось там — светилось, чтобы он мог запомнить этот день.

1958—1960

---

## ПРОМЕЛЬКНУВШИЕ ГОДЫ

1



то случилось в предвоенный год, московской весной.

В студенческом общежитии, в женской комнате номер пять, легло спать десять девушек, а проснулось наутро девять.

Постель Вари Кутафиной была пуста. Одеяло откинута, на подушке еще держалась вмятинка от головы, простыня была смята — смята, как обычно после спящего человека. Вещи Кутафиной были тут — недоставало только ее платья, шляпы и пальто на вешалке. По всему было видно, что Варя среди ночи поднялась, оделась и ушла. Тася, которая спала с ней рядом, теперь припомнила, что, встав среди ночи за водой, она заметила в полумраке пустую Варину постель.

Кутафина была тихая, незаметная девушка. В каждом общежитии обычно встречаются такие люди. Они много молчат, неслышно ходят, охотно выполняют чужую работу, остаются «покараулить», когда все отправляются куда-либо, легко и застенчиво сносят шутки, уступают билеты в театр и в общении с людьми слишком часто говорят «пожалуйста» и «спасибо».

Куда и зачем могла уйти Варя среди ночи?

В гости? На вечеринку? Но тогда зачем было ложиться в кровать? Не получала ли она какой-либо телеграммы вечером? Нет, никто из подруг по комнате не видел этого...

Первым на весть пришел в женскую комнату студент второго курса Рожков Василий. Он это услышал в умывальне и пришел с полотенцем на шее, с зубной щеткой в руке.

Рожков молча подошел к кровати Кутафиной, оглядел ее, обследовал Варин шкаф, затем подоконник ближайшего окна. Он знал не больше, чем девушки в комнате, но считал, что сыск мужское дело и что по каким-то незаметным признакам он откроет то, чего не могли открыть подружки Вари. Но осмотр ничего не дал. Рожков присел на табуретку и задумался — ему не хотелось уйти ни с чем.

— Не было ли у ней какого-либо дома, где она могла переночевать?

Да, такой дом был — тетка на Садово-Каретной улице. Но почему-то сейчас забыли об этом. Рожков оживился: он, кажется, на верном следу — с теткой ночью что-нибудь случилось, послали в общежитие за Варей, дежурный же у входа в корпус, конечно, спал, посыльный поднялся на четвертый этаж, разбудил Варю... По всему видно, что Кутафина спешила уйти с посланцем от тетки, — вот даже постель не закрыта одеялом...

В записной книжке Вари нашли телефон ее тетки, и Рожков, на радостях, что сейчас вернет женской комнате их тихую подружку, поспешил к телефону. Но тут заговорила тоненькая, строгая Наташа, Варина подруга. Ведь спрашивая тетку: «Не ночевала ли Варя у вас?», можно этим, если Вари там нет, испугать старуху. Решили звонить от имени Володи (а у Вари был такой Володя), звонить о том, что билеты на «Бахчисарайский фонтан» он, Володя, достал и может сейчас же завезти билеты к Варе и так далее. Придуманно было ненужно длинно и подробно — всем вдруг захотелось оберечь от волнения неизвестную тетку с Садово-Каретной.

Но в ответ они слышали такое же подробное и длинное объяснение, что Варечки тут нет и что вообще Варечка забыла свою тетю — вот уже вторую неделю не показывается... Но билетам Варечка будет, конечно, рада, и молодому человеку Володе («Простите, отчества вашего не знаю!») надлежит с билетами тотчас спешить в общежитие, где проживает Варя. И радужный голос стал словоохотливо сообщать адрес общежития. Василий Рожков, не в силах прервать старушку, терпеливо слушал о том, как добраться до того места, где он сейчас находился.

— Благодарю вас! — сказал наконец Володя-Василий, вешая трубку.

Не пришла Варя в тот день и на лекции в институт, не было ее и позже.

Вечер этого дня прошёл в догадках. К девяти студенткам пришел народ из других комнат. Сидели, рассказывали истории об исчезновениях. Сидели на всех кроватях, кроме Вариной, но как-то получилось так, что расположились вокруг нее. И все почему-то ощущали пустоту кровати — в тихой, неприметной Варе открыли вдруг милые качества, которых раньше не видели.

Разошлись в двенадцатом часу ночи.

А на следующий день Наташа, проснувшись раньше всех, закричала:

— Варя вернулась!

И действительно, на вчера еще пустой кровати, натянув одеяло до подбородка, спала Варя. Наташин вскрик не разбудил ее. В одних ночных рубашках девять девушек столпились около спящей.

Было невыносимо ждать, когда она проснется, — хотелось все знать сейчас же, немедленно.

## 2

Варя легла в ту ночь вместе со всеми — в одиннадцать часов. Она умяла подушку, засунула под нее руку, закрыла глаза — поджидала сон. Но он не приходил. На противоположной от окна стене, захватив угол потолка, лежал косой, надломленный квадрат улично-

го света. По квадрату проходили какие-то волокна. «Тень от дыма»,— догадалась Варя. Между уличным фонарем, бросавшим свет сюда, и квадратом у потолка дымила какая-то труба. «Как поздно топят! — подумала Варя. — Но почему дым проецируется сюда?» Это была легкая задача по начертательной геометрии. Все решалось очень просто: комната, где сейчас лежала Варя, помещалась на четвертом этаже, фонарь — на улице, следовательно, дом, где так поздно топили печь, был выше фонаря, но ниже Вариного четвертого этажа...

По светлomu квадрату проскользнула будто тень птицы... Вот и еще одна — точно бабочки у лампы...

По квадрату все текли волокна дыма, и Варя представила где-то поблизости от общежития тихий двухэтажный домик с голландской печью. Белые изразцы с голубой каемкой, желтый латунный отдушник, на котором сушится полотенце, вышитое красными и черными крестиками. Совсем как в Серпухове у мамы...

Серпухов!..

Варя даже приподнялась на постели. Она же сегодня хотела позвонить матери! Сегодня маме исполнилось пятьдесят лет. И сегодня четверг, когда мать дежурит на заводе и когда она около телефона. Как она будет рада!

Спать не хотелось, но постель была уже нагрета, умята, и все здание было в темноте, в забытии. Жил только косой квадрат света под потолком — волокнистая тень дыма поднималась, слоилась и пропадала во мраке. Можно послать телеграмму, но для этого опять-таки надо вставать. А завтра поздно, неудобно перед матерью: дочь забыла!..

«Нет, сегодня, и по телефону!»

И Варя при свете уличного фонаря стала одеваться. Ах, зачем она, дура, ложилась! Мать сегодня дежурит с девяти вечера — давно бы можно было позвонить в Серпухов!

Варя на цыпочках обошла кровати подруг, осторожно открыла дверь и выскользнула в коридор.

Полуосвещенные пролеты лестниц уже жили своей ночной жизнью: на третьем этаже на перилах спесиво

сидела белая красавица кошка; вокруг нее, завистливо поглядывая, бегали другие кошки — худые, плоские, дешевые. Варя погладила белую кошку. Красавица охотно позволила коснуться себя — и она, и ее белая пушистая шерсть были созданы для этого...

У выхода дежурная по общежитию спала, положив голову на задачник по арифметике. Часы над ней показывали без двадцати двенадцать.

Варя села в трамвай «А» и поехала на улицу Кирова к Главному почтамту.

Куполообразное здание, похожее на цирк, было уже все во мраке, только в правом крыле светилась комната междугородного телефона. Варя встала в очередь к окошку заказов. Сзади подходили люди — завсегда-таи этого места — и, сказав: «Я за вами! Запомните!», уходили курить или бежали к окошку телеграфа. Послушная Варя, ответив «пожалуйста», запоминала их, и когда они возвращались, она указывала, кто за кем стоит. У самого окошка, оттолкнув Варю, объявился человек в каракулевой фуражке. Размахивая какими-то сизыми накладными, он по плечи влез в окошко и долго — безголовый — бранился там. Варя терпеливо ждала, хотя задние и старались вытащить из окошка этого каракулевого...

Наконец разговор с Серпуховом был заказан, но Варю предупредили, что он состоится не раньше, чем через час. И Варя села ждать. Рядом, заняв чуть не половину желтого диванчика, расположилась полная, но статная дама с газетой. У нее были подбриты брови, подведены глаза, и сидела она прямо, молодо, выставив обширную грудь. Читая газету, держала ее небрежно, на отлете, но Варя поняла, что женщине этой уже за сорок лет и что держаться ей так, по-молодому, утомительно: вероятно, и спина устала, и шея, и руки.

Входная дверь часто открывалась, и в комнату забегал мартовский ветер. Дама поежилась и надела пальто песочного цвета, которое лежало на спинке диванчика. Пальто было дорогое, красивое — Варя тайком разглядела его: и материал, и покрой воротника, и пуговицы... Одевшись, дама опять принялась за газету — изящная, чуть надменная. Она напонила

Варе ту белую кошку, которую она погладила на лестнице. Но Варя поняла, что это от зависти,— ей тоже бы хотелось иметь и такое пальто и так картинно держаться...

Заметка в вечерней газете с заголовком «145 свиней в час» привлекла Варю, и она, чуть склонившись, заглянула в газету. Они так минуту читали вместе.

— Пожалуйста! — Дама протянула ей газету. — Я уже прочла...

— Большое спасибо... — Варя вспыхнула: вероятно, неприлично было заглядывать в чужую газету. — Нет, простите, я только так... только так посмотрела...

Но в это время из окошка выкрикнули:

— Харьков! Сазонов! Четвертая будка!

Дама быстро поднялась, сунула газету в руки Варе и, чуть переваливаясь, пошла к будке. Через стекло в будке видны были ее плечи, почти упирающиеся в фанерные стены, и завитые на затылке светлые волосы.

Она говорила долго, шея у нее покраснела. «Как душно ей там!» — подумала Варя. Но вот она повесила трубку, Варя поспешила к будке, чтобы отдать газету (она так и не узнала, что делают с 145 свиньями в час), однако женщина, помедлив, опять взялась за трубку, крикнула: «Костя! Костя!», но ей уже не ответили. Она снова повесила трубку, повернулась и открыла дверь будки.

Варя протянула ей газету, и тотчас опустила ее: лицо женщины было в слезах, на бледных щеках и шее пятнами лежал румянец. Беспamięтно она оперлась на плечо Вари.

— Это ужасно!.. — проговорила она, никого и ничего не видя. — Это ужасно! Я просто не знаю...

Варя почувствовала ее тяжелое, обмякшее тело.

— Что с вами? Что случилось?

— Проводите меня! — сказала женщина, направляя Варю к выходу. — Я тут, рядом...

Стыдясь своих слез, она опустила голову, искала в сумочке платок и шла к выходу неровными шагами, чуть приваливаясь к девушке. Варя попросила ее подождать, сбегала к окошку, где ей сказали, что Серпухов вызовут не раньше, чем через полчаса.



На улице падал снег, было скользко, и Варя сжала локоть спутницы. Они молча прошли полквартиры. Женщина остановилась около черных дверей подъезда. Варя поняла, что она живет тут и что надо ее довести до квартиры...

3

В большой, хорошо обставленной комнате находился белобрысый, круглоголовый мужчина с выпуклыми, бесцветными глазами. Он любовно развертывал на столе свертки, раскладывая закуски по тарелкам. Мужчина был без пиджака, чтобы легче двигать руками.

— А-а! Тонечка! — сказал он, не посмотрев на дверь. — А я только что пришел! Угадай, чего я достал!..

Он взглянул на ее заплаканное лицо, увидел какую-то девушку сзади, и хлопотливые, в веснушках, руки его остановились.

— Э-э!.. Что такое?..

Она, не раздеваясь — в пальто и в ботах, подбежала к нему и зарыдала.

— Константин бросил меня! — Снег с ее шляпки сыпался ему на руки. — Сейчас по телефону... Из Харькова... Не приедет!..

Он чуть отстранил ее от себя: жилетка была из светло-сиреневого тонкого материала, и, конечно, на ней останутся пятна от слез.

— Ну и пусть! — сказал он неуверенно. — Очень он тебе нужен!

— Ах, не говори! Не говори... — Скрывая мокрое, подурневшее лицо, женщина отошла от него, сняла шляпку, песочное пальто, но не бросила их, а передала Варе. — Страхните, пожалуйста!.. Там снег...

И, закрыв лицо платком, повалилась на диван.

Белесый мужчина без пиджака и Варя с пальто и шляпкой в руках стояли посредине комнаты друг против друга, не зная, что делать. Он подмигнул Варе в сторону дивана, пожал плечами и улыбнулся. Варя посмотрела на его низкий лоб, на бессмысленные глаза и поняла, что этот человек глуп. Она сейчас находилась, как ей казалось, около большого, взрослого горя, око-

ло горя н а с т о я щ е й женщины (она все еще видела перед собой ту важную красивую даму, которая читала газету в комнате междугородного телефона), и этот глупый, ненужный человек все как бы портил. Хозяйка будто догадалась об этом.

— Наумов, уходите! — всхлипнула женщина. — Уходите...

— Как уходите? — белесый перестал улыбаться. — Я же пришел... Мы же...

— Нет, нет, Наумов!.. Ну, я прошу.

В голосе женщины была строгость, и белесый пожал плечами — что изображало «как вам угодно». Потом он подошел к столу, посмотрел на разложенные закуски, вздохнул, надел пальто. И вышел.

Варя тоже тронулась за ним. Событие, начавшееся в телефонной будке, вовлекло ее в свой круг, и она сейчас двинулась к двери не потому, что подходило время звонить матери в Серпухов, а потому, что эту плачущую женщину надо было оставить одну. Если она услала этого белесого, то Варя, чужой, тем более следовало уйти.

— Останьтесь! — слышался всхлипывающий голос с дивана. — Мне так тяжело...

Варя была послушная, и она осталась. Ей даже было лестно, что вот знакомого человека эта женщина услала, а ее просит побыть.

И чтобы как-то отблагодарить за приглашение, чтобы быть полезной в доме, она налила воды из стеклянного кувшина и понесла стакан к дивану. Женщина уже поднялась и, не стыдясь заплаканного, подурневшего лица, пристально, но ничего не видя, смотрела в угол комнаты.

— Нет, спасибо... — сказала она, заметив воду. — Не надо... Хотя, погодите, дайте, — она отпила из стакана. — Вот он! Посмотрите! — кивнула она на туалетный столик.

Среди старомодных граненых флаконов на позолоченных выгнутых ножках стоял в овальной рамке портрет молодого — лет двадцати трех — человека с добрыми светлыми глазами. Варя невольно спросила:

— Сын?

— Нет, муж...— отвечала женщина с некоторой гордостью, но вдруг, вспомнив разговор с Харьковом, она опять нахмурилась.

Варя посмотрела на нее и тут только заметила, что ничего не осталось в этой женщине от той, которую она видела на почтамте. Спина ссутулилась, руки опустились, краски, положенные на лицо, размазались: на бровях было красное, на щеках — коричневое. Варя, негодуя на себя, отвернулась, чтобы скрыть улыбку. Она поправила угол скатерти, и вдруг чувство большой жалости охватило ее. Она боком, угловато приблизилась к женщине, села рядом на диван и осторожно обняла ее. Женщина от неожиданной ласки опять заплакала и привалилась к Варе. Варя обняла ее крепче и смелее. Все переместилось: не было уже красивой, чинной дамы из комнаты междугородного телефона, а была обыкновенная пожилая женщина, сокрушенная горем. И не было пугливой девушки, присевшей в уголке желтого почтамтского диванчика...

— Меня предупреждали! — сказала женщина, отсаживаясь от Вари: так легче было говорить.— Через пять лет мне будет сорок девять лет, а он все еще будет мальчишка. А я отвечала: «Пять, три года, да мои!» А вот прошел только год — и ушел. Только год!.. А я из-за него...— Она подняла глаза.— Вас как зовут?

— Варя.

— Я из-за него оставила человека. Прекрасного человека с положением, известного художника, которого любила... Конечно, не так, как Костю. Но он-то любил меня больше... Все у нас было. Две комнаты, для работы еще ателье на окраине Москвы... Автомобиль, правда, не личный, но иногда им можно было пользоваться. Да и у Константина тоже был не личный...

— Вы второй раз замужем? — спросила Варя, спросила для того, чтобы отогнать эти автомобили, которые ей показались какими-то грубыми, ненужными в таком горе...

Женщина пристально посмотрела на нее и сквозь не просохшие еще слезы неожиданно улыбнулась.

— Давайте пить чай! — сказала она, вставая и проводя ладонью по лбу.— И оставайтесь у меня ноче-

вать... Зовут меня Антонина Львовна... А вас Варя? Да?

— Нет, Варя. Спасибо... но я должна по телефону...— Она посмотрела на часы.— Скоро меня вызовут.

И Варя рассказала о том, что матери ее сегодня исполняется пятьдесят лет и что только при ее ночном исполнении можно ей позвонить.

— Ну, тогда бегите на почтамт. Это рядом. Звоните в свой Серпухов и поскорее возвращайтесь обратно! Вы где живете?

— У Кропоткинских ворот.

— У-у, какая даль!.. Я об этом и говорю! Все трамваи ушли — уже скоро два часа... Такси не найдете. Ночуйте у меня.— Она взяла ее за руку.— Ну, приходите, миленькая: мне просто тошно одной!..

4

Когда Варя возвращалась с почтамта, на улице Кирова было пусто и тихо. Выпавший снег лежал нетронутым белым слоем. Только посередине дороги пролегали две темные полосы от автомобиля. У подножья фонарей снег искрился, и было видно, что он нежен и пушист.

Перед померкшими домами  
Вдоль сонной улицы рядами  
Двойные фонари карет  
Веселый изливают свет  
И радуги на снег наводят...—

вспомнила Варя.

«Почему радуги?» — подумала она.

Ощущением необычайной ночи была полна Варя. Прошло всего два с половиной часа, как она уехала из общежития, но казалось, что ее нагретую кровать, в которой она уже засыпала, отнесло куда-то далеко, запылило снегом... И там, под снегом, в переулке у Кропоткинских ворот, давно уже спят ее подружки, а она вот тут, одна среди ночи, среди белой пустынной улицы. Сейчас говорила с матерью, слышала из Серпухова ее голос, ее смех... А теперь вот идет не домой, а к какой-то незнакомой женщине, где будет ночевать.

Ночевать в чужом доме... Но так сложилась ночь, что надо идти не к Кропоткинским воротам, а вот именно сюда, в чужой дом...

Антонина Львовна радостно встретила ее, взяла за руку, повлекла в свою комнату.

— Ну как хорошо, миленькая, что вы не обманули меня!

Она уже была умыта, припудрена, причесана. На столе был приготовлен чай.

— Сейчас попьем — и спать, — сказала Антонина Львовна. — Раздевайтесь и садитесь.

На часах, стоящих на крышке пианино, был третий час: необычайное продолжалось — никогда так поздно Варя не пила чай! А какие хорошие часики! Передняя сторона футляра перламутровая, а с боков лиловый бархат. Рядом с часами наклонно как настольная фотография, стоял на никелевых ножках черный термометр. Варя никогда не видала таких стоячих и таких важных термометров. Те обычные, которые висят на стене, в сравнении с этим просто желтая дощечка.

Она рассматривала все, чтобы не сразу подойти к чайному столу. Она проголодалась, а потому неудобно было торопиться.

За чаем Антонина Львовна расспрашивала Варю об ее матери, об институте, о подругах. Но по тому чрезмерному вниманию, с которым она слушала, Варя поняла, что ей это неинтересно и что расспрашивает Антонина Львовна только для того, чтобы не говорить о случившемся, забыться...

Потом Антонина Львовна постелила Варе на диване, взбила подушку, спросила, не холодно ли будет под одним одеялом, не надо ли ей на ночь воды...

Простыни были свежи, приятны, и Варя, нагрев их около себя, вытянула ноги — там, в конце дивана, держалась еще нетронутая ласковая прохлада. Варя пощупала простыню — это было тонкое, хорошее полотно. И оно чем-то приятно пахло. Но нет, это были не духи, а просто запах чужого дома.

Над столом спускалась небольшая люстра, окаймленная гранеными стекляшками. Варя, прижав щеку к подушке, следила одним глазом, как от шагов Анто-

нины Львовны чуть покачиваются эти прозрачные палочки. В ритм им шевелились на белом потолке какие-то радужные полосы. Приглядевшись, Варя заметила и на гранях стекляшек узкие крошечные радуги. «И радуги на снег наводят...» — вспомнила она и, улыбнувшись пришедшей догадке, легла на спину; теперь отчетливее были видныдвигающиеся цветные полосы на потолке. «И радуги на снег наводят...» — повторила она. И вдруг ясно представились и каретные фонари с гранеными стеклами, и утопанный около карет снег, на который легло круглое радужное пятно от фонаря, и легкие бальные туфельки торопливо пробежали по радужному снегу к освещенному подъезду...

Неожиданно люстра потухла. На стене повисло треугольное пятно уличного света. Варя услышала скрип кровати — Антонина Львовна укладывалась. Смотря на светящееся пятно, Варя улыбнулась: она сегодня второй раз ложится спать. И все это уже было — и потушенное электричество, и голова на подушке, и свет от уличного фонаря...

— Вы спросили меня... — послышался из темноты голос Антонины Львовны. — Варечка, вы спите?

— Нет.

— Вы спросили меня, второй ли раз я замужем? Я пятый раз, Варечка! — Она помолчала. — Но все что-то не так... Для вас это, наверное, ужасно: пять раз!

— Вы были несчастны? — кротко спросила Варя.

— Да... кажется, не те люди были в моей жизни... Я ли других не нашла или они меня... А может быть, все быстро менялось... Первый раз я вышла замуж в шестнадцатом году, мне тогда было двадцать лет... Ах, как все интересно казалось вначале!..

По скрипу кровати Варя догадалась, что Антонина Львовна приподнялась на локте и хочет говорить.

## 5

Тоне было двадцать лет, когда она вышла замуж за директора Коммерческого банка.

Мир был устроен просто, мудро и интересно. Все человечество делилось на две части: работающие и за-

нимающиеся. Из работающих Тоня знала только прачек, дворников, кухарок и горничных. Их было, в сущности, очень мало, они жили отдельно, и их никто не знал. Их не приглашали в гости, они не ходили в театр, они не носили платья, которые шили портнихи, они не умели говорить так, как говорили все вокруг Тони.

Главная часть человечества — это были занимающиеся. С детства до семнадцати-восемнадцати лет они занимались в гимназиях — в мужских и женских. По окончании гимназии юноши продолжали заниматься дальше — в университете, затем в должности, в торговле и т. д. Занятия же девушек прекращались навсегда и во всем: отныне они ничего не делали. Наступало совершенно очаровательное время — ездить в гости, за покупками, в театр, на балы. И ждать его — занимающуюся мужскую особь. Он являлся не сразу после университета, а уже заполучив отличное место в жизни и располагая деньгами. А потому он был не так молод — он все знал, был опытен, мог устроить своей жене приличную жизнь.

И к Тоне явился такой мужчина с русой бородкой, тридцатисемилетний директор Коммерческого банка Люсинов Борис Петрович.

Начались еще более прекрасные дни. Она переехала к мужу в новую квартиру, отделанную по ее желанию; она, двадцатилетняя, получила под свое начало несколько пожилых и молодых марфушек, которые убрали комнаты, бегали за сладостями в «Крымскую кондитерскую» на Тверской, готовили обед, стирали белье и ждали приказаний матушки-барыни.

Матушка-барыня Антонина Львовна после позднего завтрака отправлялась за покупками по магазинам. Это были просто волшебные часы. Она заходила в магазин и еще от двери сразу видела все выставленные и выложенные товары. Она ходила от полки к полке, от прилавка к прилавку и, грациозно указывая: «Это! Это! Это!», безошибочно отбирала лучшие вещи. Давала домашний адрес, куда надо было доставить купленное, и шла в другой магазин.

Иногда, по воскресеньям, она отправлялась за покупками с мужем. Но тогда ей только приятно было

пройти по Кузнецкому и Петровке со статным русобородым мужчиной, с которым многие раскланивались на улице. В магазинах же она чувствовала себя связанно, будто пришла с папой. Да еще с неловким папой. Борис Петрович подходил к прилавку, просил снять с полки приглянувшуюся ему вещь и долго ее осматривал, постукивал, размышляя о прочности. Затем просил показать другой экземпляр (на том он нашел царапину), затем третий... И все же, не удовлетворившись ни одним, он шел с Тоней в другой магазин, и там опять — осматривание, постукивание, размышление о прочности... Но зато если он покупал, то это, по его словам, была не только хорошая вещь, но и безусловно нужная в доме. Тоня не любила с ним ходить: было неизящно, скучно и немножко стыдно за мещанскую, как казалось, осмотрительность мужа.

Через полгода все было куплено... В квартире стало тесно от вещей, как тесна бывает одежда обвешанному человеку. И как такой человек уже не может съесть ни крошки — ему скучно, его клонит ко сну, так и Антонина Львовна, придя к концу своих забот и хлопот, почувствовала однажды скуку.

Но в мире все было предусмотрено. Земля в жаркий день подманивает к себе дождевое облако; в открытое окно лезет дачный вор... В жизни Антонины Львовны появился двоюродный брат мужа, студент последнего курса юридического факультета, и знаменитый дом для свиданий на Трубной площади.

...Она подъезжала к обители любви в двенадцать часов дня и, спустив вуальку на глаза, проходила мимо бесстрастного, ничего не видящего швейцара. Спокойно шла по теплomu, мягко освещенному коридору, устланному ковровой дорожкой. Поравнявшись с комнатой номер пятнадцать, она открывала незапертую, а только притворенную дверь и заставляла в комнате своего студента, уже лежащего под одеялом и посмеивающегося...

В три часа, когда пора было уходить, Дмитрий нажимал кнопку звонка, а может быть, это был не звонок — Антонина Львовна никогда не слышала даже от-



даленного звука. У двери объявлялась какая-то, тоже бесстрастная, как швейцар, личность, которая заучено, но учтиво говорила или «пожалуйста», или «подождите минутку». Законы этого дома требовали тайны...

Они выходили из комнаты не вместе, один шел по коридору вправо, другой — влево. Шли по пустым коридорам: никто и ни в коем случае не мог их тут встретить. Он выходил на Трубную площадь, а она со спущенной вуалькой — на Неглинную. Окажись тут лица, заинтересованные в поимке неверной жены, они были бы беспомощны.

Антонина Львовна садилась на извозчика и ехала в Охотный ряд за свежей редиской. Она возвращалась домой к обеду ровно к четырем часам, когда приходил муж из банка. Покусывая чистыми белыми зубами розовую редиску, она оживленно рассказывала о том, что видела в городе, кого встретила в Охотном ряду. Муж смотрел на ее блестящие, смеющиеся глаза и находил ее сегодня особенно красивой, умной, молодой...

И был у нее однажды вечер — вечер размышления, когда она вдруг поняла, что счастлива. Она помнила, как это произошло. Она одевалась для театра. Чуть прохладно было голым плечам и рукам. Она посмотрела в зеркало и вспомнила, что днем виделась с Дмитрием, за обедом были гости, которые нашли ее сегодня какой-то особенной, а сейчас едут в театр, где будет светло, нарядно, много людей. И тут она почувствовала, что совсем счастлива. Она даже невольно присела, опустила руку с гребенкой на колени. Смотрела на себя, полураздетую, в зеркало и мысленно повторяла все то приятное о себе, что сегодня слышала за обедом.

## 6

И внезапно все это кончилось. Февральскую революцию Антонина Львовна заметила по шуму в доме — неумолчный говор гостей тянулся далеко за полночь. И еще: когда переехали на дачу, ей стал надоедать

какой-то мальчишка. Он, появляясь у калитки, выкрикивал певучим бабьим голосом: «Ма-ли-ины зрелой, хоро-ошей! Ма-ли-ины!..» И, подмигивая, показывал пустое лукошко.

И хотя между шумом в гостиной и этим мальчишкой ничего не было общего, но почему-то так и запомнилось то время: полуночный говор и мальчишка с пустым лукошком.

Потом была Октябрьская революция и гражданская война. Не стало Коммерческого банка, не стало и директора банка... Сперва в ход пошла квартира. Борис Петрович сбывал мебель, картины, посуду. Держалась еще спальня Антонины Львовны, затем и она — со всей безделушечной ратью — тронулась в поход. Последними ушли зеркала и мягкие стулья грушевого дерева. Потом Борис Петрович поступил в Моссаготтоп, надел прозодежду того времени — коломянковую серую толстовку с вихлявым пояском — и, не понимая, к чему все это, принялся за ломберным столиком (за которым его усадили) что-то писать и что-то считать...

А потом Антонина Львовна его оставила.

...В городе открывались лавки, протирались витринные стекла, на порогах вбивались конские подковы для счастья... Отощавшие было купцы, которые до этого в каком-нибудь Губпродхите или ГВИУ безымянно подмахивали бумажки: «секретарь», «делопроизводитель», «счетовод», теперь вешали просторные вывески — золотом по синему: «А. Анисимов» или «Телогреев и сыновья».

И один такой вошел в жизнь Антонины Львовны. До революции он был тучен — страдал одышкой, отеками. Старался больше ходить пешком — не помогало. Доктор прописал велосипед. Хрупкая машина содрогалась, когда он взбирался на нее, но все оставалось по-прежнему. Ездил на воды, и там опять массаж, гимнастика и тот же велосипед, но деревянный, неподвижный — в станке, как муха на липкой бумаге: мельканье крыльев, жужжащий комочек тумана, а взлететь не может...

И вдруг за годы революции все прошло, от всего

излечился... Оказывается, никакого велосипедного мотона не надо было — всего-навсего следовало мало, плохо и редко есть... И какая-нибудь ржаная каша «шрапнель» и немудреная рыбка вобла сделали из Власа Никитича Крутогорова стройного, бодрого, здорового человека. Даже в выражении лица появилось какое-то одухотворение, какая-то приват-доцентская осмысленность — насмешливая и строгая.

В это время и познакомилась с ним Антонина Львовна. Влас Никитич уже входил в силу. На Сре-тенке открыл галантерейный магазин в две широкие витрины, отсудил себе прежнюю квартиру, перекупил обратно свою мебель, стал строить дачку на Клязьме... Жизнь Антонины Львовны пошла по-прежнему — почти по-люсиновски, но хлопотливее: настоящую вещь надо было теперь искать не в магазинах, а у перепродавцов и в комиссионках. Однажды так она встрети-лась со своим трельяжем — в полутемном помещении он показался чужим и маленьким и какой-то дурацкий ярлык на середине зеркала!.. Она вздохнула, отверну-лась и старалась больше не вспоминать о Люсинове: он так, наверное, и не поднялся от своего ломберного столика, от своей счетоводской незначимости... Вот и трельяж не вернулся в дом...

Дела у Власа Никитича шли хорошо, широко. На-ладил связи с провинциальными кустарями, за прилав-ком уже стояли четыре продавца, и при магазине по-явилось отделение готового платья. Торговля шла ход-ко, прибыльно — магазин был неподалеку от шумной базарной площади. Больше всего раскупались пальто из так называемого тамбовского драпа. И шли они хо-рошо, ибо на рубль-два были дешевле, чем в государ-ственном магазине.

Незаметно Влас Никитич стал опять прибавлять в теле, опять появилась отдышка, сонливость. Однажды Антонина Львовна нашла в его лице что-то очень чу-жое себе, что-то простое, аляповатое...

Власа Никитича между тем потянуло к разнообра-зию жизни. Сперва он сошелся со своей магазинной кассиршей, потом с худенькой пугливой артисткой из цирка. Туся играла негритьянку-горничную в одной во-

дяной пантомиме. Вместе со своей жестокосердной госпожой-миллионершей она прыгала с горящего парохода в воду. Плывая по бурному океану, Туся делала несколько насмешливых жестов, которые должны были напомнить госпоже-капиталистке о том, что перед лицом опасности все теперь равны.

На берегу океана, который изображал прорезиненный холст, укромно, таясь за пальмами, стоял Влас Никитич. Как только мокрая Туся, поспешая за кулисы вслед за своей раскаявшейся госпожой, пробежала мимо него, он накидывал на нее большое, пятьдесят шестого размера, пальто из тамбовского драпа, заворачивал и тащил к выходу. Член местного крафт-акробат Гуго Леопарди бежал за ним следом, понося его за купеческую дикость, за гусарство...

У подъезда цирка дожидался уже автомобиль с желтой полосой на кузове — частная прокатная машина. Летели в меблированные комнаты «Новая Вена». И тут Влас Никитич сам отмывал умбру с лица Туси, стаскивая с ее рук такого же темно-коричневого цвета длинные перчатки, сам переодевал Тусю в сухое платье...

А потом Власа Никитича арестовали. Оказалось, пальто-то из тамбовского драпа были отпущены с государственной швейной фабрики. Да и не отпущены, а по сходной цене, с приятельской скидкой, позаимствованы через сподручных людей...

Имущество Власа Никитича было описано, а сам он был ввергнут в узилище.

Антонина Львовна дожидалась его, сидя на тесовых табуретках в опустевшей квартире... Она и сама не понимала, чего она ждет.

Сосед по дому, Арсений Иванович, к которому она охотно приходила жаловаться на свое неприкаянное житье, со дня на день мог уехать на Урал, где ему давали большой металлургический завод. Он осторожно давал ей понять, что хотел бы ехать туда не один...

Но Антонина Львовна ждала, — может быть, ее держало чувство какой-то деликатности, может быть, не

знала, кому же ключи от квартиры передать, кому эти табуретки вручить...

В одно зимнее утро приехала из Мурома, вся обвязанная шерстяными платками, сестра Власа Никитича. Узнав о судьбе брата, женщина распустила на шее тугие узлы платков и заплакала. Антонина Львовна разделила ее слезы. Они плакали, сидя друг против друга. Потом большая, с громким голосом женщина заходила по квартире, рассказывая о муромских свадьбах, о покойниках, о новорожденных, о кражах и о пожарах... Антонине Львовне казалось, что пустая квартира наполнилась чем-то пошлым.

К вечеру гостя, вспомнив о брате, опять пригорюнилась, завсхлипывала. Антонина Львовна не присоединилась к ней. Смотря на нее, она вдруг подумала: «Вот кому можно передать квартиру».

## 7

Антонине Львовне было тридцать три года, когда она приехала на Урал к Арсению Ивановичу. Прошло уже много лет после революции, но только теперь она поняла, что мир изменился. Арсений Иванович, который когда-то был простым монтером на предприятии Бромлей, теперь стоял во главе металлургического завода. Его уважали, у него просили совета, его любили...

Но больше всего подтверждало перемену в мире и чему она первое время не доверяла — это то, что Арсений Иванович, вставая в семь часов утра, приходя с завода в восемь часов вечера, поздно обедая, уставая, не ждал от наркомата ни прибавки, ни наградных, ни повышения. Антонине Львовне даже иногда казалось: прекратись жалованье, то есть то, из-за чего люди отдают лучшую часть дня, а то и весь день какой-то чужой, неблагодарной работе, и все останется по-прежнему: в семь встал, к ночи пришел...

Но жизнью своей Антонина Львовна была довольна. И опять тут было новое. При Люсинове ее знали в обществе, но частных банков в Москве было много, директоров тоже... При Власе Никитиче и этого не

было. Круг знакомых был еще уже, глуше... Как ни поднимались нэпманы, но до известности не дошли — все терялось в общей куче: частная торговля.

Жизнь же при Арсении Ивановиче была на виду. Небольшой уральский городок жил при заводе, директором же завода был ее муж, а потому весь городок находился как бы при Арсении Ивановиче. А значит, и при ней... Антонина Львовна хотела порой сравнить себя с губернаторшей... Во всяком случае, местные итеэровские жены непрерываемо слушались ее в выборе платья — она была недавняя москвичка.

Все было чудесно. У них была большая, в пять комнат, квартира, машина с завода, постоянные места в театре... Осенью она ездила в Сочи, на обратном пути заезжала в Москву, хвалила Урал, Арсения Ивановича, завод, планы новостройки...

— Какая жизнь! — восклицала она. — Очень много социализма!.. Даже вот и я варюсь в бурном котле...

И шли годы.

Промышленность страны с каждым годом увеличивалась, усложнялась, требовались новые методы и работы и руководства. Арсений Иванович был послан в Москву, в Промышленную академию.

И это Антонина Львовна поняла как счастье: конечно, Урал Уралом, но она не переставала тосковать по Москве. И все сначала было хорошо: московские знакомые, магазины, театры, Тверская с милой, уютной горбинкой у Камергерского переулка, — смотри, радуйся!..

Но все это скоро было обхожено, осмотрено, и новая жизнь, жизнь дома, придвинулась ближе, всеогладнее...

Комнатка в общежитии академии; домработницы, которые одна за другой уходили на производство; позорные ночи, когда Антонина Львовна сама должна была стирать белье; редкие гости, так как учеба в академии требовала от сорокалетнего Арсения Ивановича большого рабочего дня, внимания, сосредоточенности; размышления о каждой покупке — денег дома было

почти столько же, но московские — это не уральские расходы!..

И, может быть, главное — не было городка, который жил бы при директоре... Арсений Иванович был просто ученик, заслуженный, известный в наркомате человек, но сейчас ученик, которому задавали уроки и который эти уроки должен был готовить дома!.. И ученику, конечно, не к лицу была машина, которая осталась в уральском городке, — ездили на трамваях, автобусах, как все... Это «как все» и было сейчас главное, что придвинулось, не уходило, не отставало от Антонины Львовны.

Арсения Ивановича же это не беспокоило. Только тут, в академии, он понял, как он мало знал. Он вспоминал свои распоряжения по заводу, свои выступления на производственных совещаниях... Сколько было приблизительного, смутного и просто неверного... Даже вот сейчас, в первый год учения, перенесись обратно на Урал, он мог бы работать иначе... А сколько придет еще по окончании академии!.. И, несмотря на большую работу, он отдыхал в этом новом для него мире, который казался ему отличным. Только подумать: он так мог бы и состариться, не узнав этих книг, этих лекций!

Однажды он нашел записку на столе — традиционный след быстрого и легкого ухода...

На небольшой бумажке, сложенной треугольником, Антонина Львовна написала несколько простых слов, которые должны были показаться глубокомысленными и печальными.

## 8

О существовании художника Лузгина Валентина Тихоновича Арсений Иванович совершенно не подозревал. Да и для Антонины Львовны тоже все это было неожиданно. Она познакомилась с ним у своих старых — еще по Люсинову — знакомых, и как-то быстро, в две недели, решила ее судьба.

Лузгин писал большие полотна. Природу он не любил, а потому не касался ее. Его как-то пугали большие пространства земли и неба. Он писал комнаты, за-

лы, где собралось много людей,— то был митинг, или заседание, или лекция, или собрание какого-нибудь кружка, семинара, пионерского отряда и т. д. Картины его охотно покупали клубы, ибо полотна были приветливы: среди изображаемых художником людей всегда находилось несколько веселых лиц, а то и все собравшиеся дружно улыбались. Картины покупали, ибо дирекции клубов находили, что на улыбающиеся лица всегда приятно смотреть.

Антонине Львовне нравилась профессия мужа. В доме всегда толкался народ, шли споры, иногда ночью вдруг поднимались и ехали через весь город в ателье Лузгина, чтобы что-то доказать, проверить...

В одно из таких ночных путешествий в их компании оказался Костя Сазонов — молодой инженер-теплотехник. Он только что вернулся из Крыма и привез Валентину Тихоновичу письмо от приятеля. Он не раздевался, не присаживался, собираясь тотчас уйти из незнакомого дома. Но тут кто-то, дружелюбный, воскликнул:

— Э-э, нет! Поедьте с нами!..

И Костя поехал. В автобусе он оказался рядом с Антониной Львовной. Всю дорогу он, подсмеиваясь над собой, приговаривал:

— Ах, что теперь со мной будет! Ведь у нас входная дверь закрывается наглухо в час ночи... Ах, что со мной будет!..

Антонина Львовна его успокаивала, говоря, что они довезут его до дому и сами будут стучаться в дверь.

— Вы, наверное, просто маму свою боитесь! — добавляла она, радуясь его молодости.— Она вас может поставить в угол...

— Эта радужная пора давно миновала,— отвечал он, тоже радуясь своей молодости.— Мне уже третий десяток пошел! — Он по-стариковски вздохнул.— Двадцать четыре стукнуло!..

Ложась в ту ночь спать, Антонина Львовна припомнила до интонаций этот пустой, незначительный разговор, и сейчас все показалось очень важным: и



каждое слово, и улыбка, и то, что он протер запотевшее стекло, и то, что уронил коробку спичек, и то, что он протянул ей руку при выходе из автобуса,— все...

Сазонов был приглашен на день рождения Валентина Тихоновича, который будет через пять дней.

«Через пять дней,— засыпая, улыбаясь в полудреме, думала Антонина Львовна,— всего через пять дней!..»

Но какие оказались эти дни!..

Она подходила к каждому телефонному звонку, спешила в переднюю, когда там раздавался шум... Утром она еще отлучалась из квартиры, но вечером, в тот самый час, когда Сазонов принес письмо, она уже обязательно была дома. Ей казалось: если он тогда пришел в это время, то, может быть, только в этот час он и бывает свободен. И она ждала: а вдруг?.. Она хотела позвонить ему, но надо узнавать номер телефона, а как-то страшно было произнести перед барышней из справочного бюро: «Константин Сергеевич Сазонов»... По списку абонентов! Но книжки этой дома не было. Она вспомнила, что такие книжки висят у автоматов. Тотчас оделась и пошла. У первого автомата книжка была сорвана — жалко болтался конец медной цепочки. У другого, в гастрономическом магазине, она нашла книжку — пухлую, смятую, как неприбранная постель. Быстро залистала ее до буквы «С». «Сазоновых» было много, и инициалы — «К. С.» — сходились... Она выписала всех — и домой,— там как-нибудь догадается, кто же из них Костя.

«Костя!»

Она повторяла это имя, закрывая глаза, повторяла то тихо, то громко...

Но не отгадала, какой из телефонных номеров Константина Сергеевича. Решила звонить по всем, нехитро придумав себе фальшивое наименование: «проверочный стол». Но когда позвонила первому «К. С. Сазонову», струсил, быстро нажала на рычажок. Что она скажет, если это он? Еще раз пригласит на день рождения? Но это навязчиво: два раза приглашать малознакомого человека.

Пять дней тянулись нескончаемо... И вся Москва напоминала о нем. Объявления в трамвае: «Требуется инженер-теплотехник»; окрик старой няни на бульваре: «Костенька! Костенька!»; кто-то, на ходу вскочивший в автобус; серая кепка, мелькнувшая за углом; женщина, сказавшая другой: «Ах, ты его не знаешь! Это чудесный парень!»

И когда наконец эти пять дней истекли, она испугалась вечера, встречи... Она выдаст себя. Для нее эти пять дней как пять лет: она знает его давно, знает всего... А он?..

Антонина Львовна не показалась сразу — убежала к соседке и там долго и оживленно говорила о подмосковных дачах, о приготовлении вафель с ромовой подливкой, о переделке котиковой шубы; она не помнила, о чем говорила, но это отвлекло: ей стало лучше, спокойнее и можно было идти к гостям...

Войдя в комнату, но еще не видя его, она почувствовала, что он здесь. Она поздоровалась со всеми и с ним одинаково радушно и любезно. Он, конечно, ни о чем не знал и не ждал этих пяти дней. Сазонов продолжал разговор в углу комнаты тем же шутливым, ровным голосом...

И весь вечер прошел так: шумно, весело, но безлично.

И месяц прошел. Она не знала, что делать. И два...

У Валентина Тихоновича были неприятности. Какой-то критик в большом искусствоведческом журнале написал, что улыбки на картинах В. Т. Лузгина напоминают улыбки в зубоврачебном кабинете, когда пациенту перед пломбированием подкладывают под щеки ватные валики — пациент улыбается... Эта фраза понравилась, ее всюду повторяли. В газете художников заговорили о форме, о композиции Лузгина — тут тоже нашли искусственность, надуманность. Была творческая дискуссия, впрочем не привлекавшая много художников. Позже Валентин Тихонович узнал, что в одном клубе сняли со стены его картину «Общее собрание семьи знатного сталевара». Но больше всего его беспокоили не выпады критики, а то, что новому его полотну, которое он заканчивал, — «Актив клуба

водников-пожарников за чтением «Леди Макбет В. Шекспира» — теперь трудно было найти пристанище. У него, правда, был подписан договор с клубом, но и на этой картине были пресловутые улыбки, к которым при желании дирекция клуба теперь могла придаться...

Все это шло мимо Антонины Львовны. Ее раздражали эти безличные встречи гостей, среди которых появлялся и Константин Сергеевич. Надо было выйти из безличности, из вежливой — общей ко всем — радушности...

Она написала ему письмо, где все сказала. И просила встречи.

Письмо, как каждое любовное письмо, действовало сильнее, глубже, чем объяснение. Костя Сазонов в первый момент испугался обрушившегося на него чувства. В его жизни ничего подобного не было — он никогда не получал таких писем, но знал, что они бывают. И вот оно пришло. И он принял это за то настоящее, что бывает редко, может быть, однажды. То, что она значительно старше его, не смутило Костю: в его возрасте лестна бывает любовь пожилой женщины... И вот даже благородство с ее стороны:

«Я старше вас,— писала Антонина Львовна в конце письма,— и через пять лет я буду совсем пожилая женщина, и потому я не связываю вас на дальнейшее, но это время пусть будет нашим — дорогим, безумным, любимым...»

9

— Прошел только год,— Антонина Львовна легла на подушку, положила полные руки под голову,— и нет его!.. Бросил... Просто бросил!.. Да... Не те люди были в моей жизни. Я ли других не нашла, или они меня... Ну, спать! — спохватилась она.— Смотрите, уже утро!

Варя видела со своего дивана, что Антонина Львовна не изменила позы. Так и лежала: руки — под голо-

вой, открытые глаза — на люстру со стекляшками. В предутреннем свете люстра казалась тусклой, пыльной, какой-то увядшей. Не было ночного, теперь уже вчерашнего! «И радуги на снег наводят». Да и услышанное было совсем не то, что Варя ждала... Ну, сейчас горе от любви, а до этого-то ведь от нелюбви!.. Так какое же это горе. Только одно — никого рядом нет, и старость...

10

— Мы проспали до вечера,— рассказывала Варя Кутафина подругам по общежитию.— Когда встали, Антонина Львовна не отпустила меня: принялась готовить завтрак... хотя, вернее, ужин. А потом, чтобы рассеяться, пошли в кино, а потом я села в трамвай и приехала сюда.

— Нет, ты скажи,— строго спросила Варина подруга, тоненькая белесая Наташа,— что ты ей на все, на всю ее жизнь ответила? Что сказала?

— Ну что я ей могла сказать! Жизнь у нее прошла впустую. Она ничего в жизни не делала и ничего делать не умеет, а кто ее, старую, теперь замуж возьмет!

— Ну вот глупости! — вступилась Лида.— Есть случаи, когда даже пятидесятилетние замуж выходят!

— А Наумов! — вспомнила маленькая Тася и отстранила подруг.— Ты говорила, там какой-то при тебе Наумов был! Кто, что он?

— Я не спросила... неудобно.

— Нет, погоди!.. Значит, ты,— хмурясь, допытывалась Наташа,— значит, ты с ней согласилась? Да?

— Я не согласилась! Она сама людей оставляла, какое же у нее горе. Но мне ее просто жалко было. Ну я, правда, сказала, что и до сих пор в каждой девушке живет это желание: выйти замуж и ничего не делать.

— Так ты и смела заявить — «в каждой»?

— Я тебе говорю: уж очень она жалкая была! И я сказала, чтоб ее успокоить... Ну, что она не одна такая... И теперь еще такие встречаются...

— «Встречаются» — это одно! — Наташа наставительно подняла палец. — А «каждая» — это другое!.. Ну, ты одевайся, скоро на лекции.

\* \* \*

Странное дело! И вечером, придя с занятий, управившись с домашними делами, девушки из комнаты номер пять снова заговорили об Антонине Львовне. Маленькая, подвижная Тася — самая любопытная, самая охочая до всяких случаев и происшествий — наивно спросила Варю:

— Ну, а дальше-то что будет?

Девушки вокруг дружно заулыбались, засмеялись, понимая, что легкомысленная Тася (а ее считали такой) ждет каких-то новых событий. Но та стояла на своем:

— Ну, как же так! — Тася разводила руками. — Где-то на Кировской лежит всеми брошенная тетя — старая, ничего не умеющая... Ну, пусть она сама себе испортила жизнь, но мы-то...

Варя, присев перед своей тумбочкой, приводила ее в порядок — вчера, в поисках причин ее исчезновения, тут все перевернули. Услышав Тасины слова, она тотчас представила комнату с тяжелыми драпри на окнах, люстру с радугами, важный, на ножках термометр и на диване — да, одна, оставленная, плачущая Антонина Львовна...

Варя, прикрыв тумбочку, медленно приподнялась и села на кровать.

— А ведь это верно! — сказала она.

И то ли Варин возглас, то ли девушки тоже представили, увидели одинокую, брошенную женщину, но пятая комната вдруг притихла.

— Погодите, девочки, погодите! — Тоненькая Наташа, строго хмурая белесые брови, выдвинулась вперед. — О том ли мы говорим? Несчастливая любовь — это одно, а любовь по расчету — это другое!.. Ну, да последнего — Костю — она, возможно, и любила, а до этого?.. Жалеть можно, когда всей душой... когда человек какое-то хорошее дело делал... — Она подбирала

слова, и уже не строгость, а волнение было в ее голосе.— Ну, когда всей душой к нему, к этому хорошему, большому, стремился, а вот не получилось, не вышло!.. Вот тогда жалко! А тут?.. Себя только любила!..

И вдруг все заговорили.

Да, конечно, это было *ненастоящее*, какое-то чужое — и избави бог их всех от такой судьбы,— но вот любовь!..

И молодые чистые души ополчились не на *такую* жизнь, которая для них была непонятна, бесплотна, а на *такую* любовь, которая и теперь еще то там, то здесь приходит со своими холодными, бездушными расчетами...

# РАССКАЗЫ



## ДЕНЬ ЖИЗНИ

1

**Н** а соседней даче четыре девочки, вскрикивая и пересмеиваясь, играли в крокет. Евдокия Михайловна, ссутулясь, стояла у изгороди и, надвинув черный платок на глаза, скорбно смотрела, как по песку, серому от засухи, бегали полосатые шары.

— Евдокия Михайловна! — слышалось сзади.

— Ась! — Она обернулась.

На ступеньках террасы стояла ее дачница — невысокая, светловолосая Лидия Васильевна в серо-голубом пыльнике, видимо собравшаяся идти на станцию.

— Белье сегодня не постираете? — помедлив, спросила дачница. — Там наволочки. Они очень нужны...

— Ах, родимая, постираю, постираю!.. Ждем конца...

Она отошла от чужого крокета, от веселых девочек и беспечных шаров и, обогнув террасу, пошла к себе, в задние комнаты дачи.

Ее мать — семидесятишестилетняя старуха — умирала уже четвертый день.

Еще недавно, выйдя на середину двора, старуха сзывала кур, бросала им размоченное пшено, и, если, похрюкивая, подбегала свинья, старуха кидалась на



нее, шустро хватая с земли камень, щепку — что попало.

Из Москвы в Малаховку бежали электрички, было шумно на перроне, пестро от летних цветных платьев. Лидия Васильевна купила в станционной аптеке ландышевых капель для старухи — она верила в них. Когда на обратном пути она проходила по перрону, из дверей подошедшего поезда вынырнул желтый воздушный шарик и косо, покачиваясь, пошел ввысь. И поезд уехал, и пассажиры разбрелись по тропинкам, а еще стояли зеваки, смотрели кверху: летит.

Лидия Васильевна вернулась на дачу. Хозяйка опять стояла у изгороди, смотря на чужой крокет. Теперь к четырем девочкам прибавился юноша в белых брюках с «лейкой» в руках. Девочек он, вероятно, уже снял и крокетную площадку тоже, теперь прицеливался на женщину в черном платке у изгороди: очень уж спокойно и печально она стояла. Но в это время девочки весело закричали.

— Лопнул! Лопнул!..

Лидия Васильевна посмотрела на девочек, а потом проследила за их взглядом — кверху. Падал на вершину сосны какой-то желтый комочек. Она протянула аптечный пузырек Евдокии Михайловне, та взяла, вздохнула и молча пошла к себе. Навстречу из задних комнат дачи вышел ее сын, Тимофей.

— Меня кличет, — беспокойно сказал он, — а узнать меня не может...

Сквозь озабоченность на его молодом краснощеком лице проглядывала улыбка.

Старуха умерла в два часа дня. С окраины Малаховки, неизвестно кем оповещенные, пришли две старухи-подружки. Они были, забивая голосами одна другую. Лидия Васильевна прислушивалась к причитаниям, хотела разобрать слова, но не поняла.

Вечером на дворе Тимофей пилил и стругал доски для гроба. Сестра его, Маша, — толстенная, в мелких кудряшках — делала из миткаля маленькую наволочку с воланами по краям. Набив соломой, она наглухо,

навечно зашила ее — наволочку ведь не снимать... Евдокия Михайловна стирала для дачницы белье. И тут были наволочки, но живые, с полотняными пуговицами, с петлями... Дед — муж умершей — сидел здесь же, на бревнах, сложенных у сарая, и пил жидкий чай с баранкой. Пока Тимофей стругал доску, дед приговаривал:

— Ну куда такую! Зря стругаешь! Помене доску надо!..

Деду казалось, что для его тщедушной, малой старухи гроб получается чересчур велик. Кроме того, он со своей бабкой жил у дочери на хлебах, и ему хотелось ужаться, поскромничать, чтобы не израсходовать много хозяйских досок.

Лидия Васильевна пошла в погреб за маслом. На обратном пути она остановилась около деда, спросила, сколько же лет было покойнице.

— С тысяча восемьсот восемьдесят второго года жила, с февраля месяца, — отвечал дед, гордясь, что помнит так точно. — А я с тысяча восемьсот восьмидесятого года... Да... Теперь и я следом...

— Отчего же умерла? Что доктор сказал? — спросила Лидия Васильевна.

— Отчего... — Дед положил баранку на стакан и развел руками: собирался поразмыслить, обсудить. — Отчего!.. Да вишь ты, так я скажу...

Но внук перебил:

— От старости, — сказал Тимофей, продувая рубанок. Ему тоже хотелось поговорить. — Доктор был... Главный доктор из больницы. Говорит, сердце, как у молодой. Жить будет... Болезней никаких нет. Хороший врач... Он главный в больнице. Ничего не делает. Приедет в больницу, спросит: «Ну что? Ну как?» Посидит и уедет. Ничего не делает, а деньги какие получает!.. — повторил Тимофей, радуясь за доктора. Взял рубанок и опять принялся стругать доску. — Болезней нет, жить старуха будет... Да... Умерла от старости.

— Плохо ела, — отозвалась Евдокия Михайловна, разгибаясь над корытом. — Все говорила: зубов нету, не справляется с пищей... Это верно, пятнадцать лет

пустой рот... А только я ее плохо кормила!.. Надо было заставлять.

Утром на следующий день на двух полотенцах вынесли гроб. У первого полотенца шел внук и его приятель из школы трактористов. У второго — счетовод, жилец Евдокии Михайловны, и маляр, которого отозвали от работы с соседней дачи. Внук поправил на плече полотенце, посмотрел на высокое июльское солнце.

— Вот дело! — сказал он, расстегивая ворот рубахи.— Лучше бы уж вечером нести! Жарко...

Впереди шла розовая, в мелких завитках внучка Маша, держа в белой салфетке тарелку с кутьей. Позади гроба — Евдокия Михайловна в черном платке и две старухи, которые вчера приходили причитать. У калитки остались дед и какая-то беременная худая женщина, выгнутая, как буква «S».

— Что это Тимофей косит! — громко сказала беременная, когда процессия тронулась.— Надо полотенце повыше перехватить!.. Или задним, что ль, пониже...— Она вышла на дорогу, приложила к глазам ладонь от солнца: нет, гроб не выровнялся.— А гвозди взяли? — крикнула она.

— Ой, нет! — послышалось от гроба, и все стали.

Тимофей передал свой конец трактористу, и тот, закрутив концы полотенца, держал их обеими руками, расставив ноги. Тимофей побежал в дом.

— Как же так? — разводила беременная руками.— Надо гвозди и молоток... Собирались вот, собирались, а забыли!.. Гвозди обязательно надо. Чем же заколачивать?! И молоток, конечно...

Она оживленно и деятельно говорила, посматривая то на Евдокию Михайловну, которая обернулась лицом к дому и ждала Тимофея, то на Лидию Васильевну, стоявшую на террасе. Беременная не шла на кладбище, а потому была рада, что она вспомнила про гвозди и молоток: она тоже вот помогла...

Тимофей вернулся, взял свой конец полотенца, и процессия снова двинулась. Лидия Васильевна подошла к калитке.

— А вы, дедушка, не пойдете?

— Не-е,— ответил дед.— Устанешь... Далеко.

У калитки соседней дачи стояли девочки с крокетными молотками в руках. Дед и беременная вышли на дорогу. Беременная снова приложила ладонь к глазам.

— Косит... Опять вижу, косит!

Дед перекрестился три раза и пошел в дом.

## 2

Вечером на черной, блестящей «Волге» приехал к дачнице Лидии Васильевне высокий худощавый человек, одетый в темное. Он сказал шоферу, что обратно поедет поездом, и сухим, жилистым пальцем провел по воздуху, как бы зачеркнул машину. Шофер тотчас дал задний ход, чтоб развернуться и ехать обратно.

Лидия Васильевна пошла навстречу приехавшему, оглядывая его новое пальто.

— Что это за манера у ответственных работников,— сказала она,— носить темное и длинное!.. Ведь летом надо что-нибудь посветлее!.. И почему, Григорий Петрович, вам сшили до пят? Главный инженер, а по улице будет ходить в каком-то халате!

Приехавший усмехнулся.

— Ну что вы понимаете в мужской моде! — сказал он, целуя Лидии Васильевне руку.— Мне еще дедушка говорил, что во всех случаях длинное пальто лучше короткого... А во-вторых, чего это вы на меня напустились? Может, мне обратно? — Инженер, сделав решительное лицо, схватился за калитку.— Может, появился другой... в светлом, в коротком?..

Лидия Васильевна не улыбулась.

— Нет, не появился... Просто у нас на даче печальное событие и хочется о чем-нибудь постороннем... Ну, отвлекусь... — Она взяла гостя за руку и повела его к даче.— Я вам очень рада! — тихо и как-то проникновенно добавила она.

Вскоре они втроем сидели на веранде и пили чай. Да, втроем,— пришлось пригласить с соседней дачи Веру Ивановну. Не хотелось этого, но из-за гостя надо было...

Лидия Васильевна знала Григория Петровича еще при муже, он нередко бывал у них в доме, но теперь, когда муж ее покинул и когда друзья разделились — одни ушли к новой семье мужа, другие остались при ней, — присутствие на даче неженатого Григория Петровича могло показаться как бы не случайным. А этого она не хотела. Именно потому не хотела, что дорожила отношениями с Григорием Петровичем. И чтоб не было пересудов, Лидия Васильевна позвала к себе Веру Ивановну, живущую через дорогу.

Вера Ивановна — немолодая ученая дама, кандидат биологических наук — курила сигареты в длинном прозрачном мундштуке, говорила веско, безапелляционно; если же ей возражали, то она щурила глаза, картинно относил мундштук в сторону и произносила сожалеательно: «Вы думаете?»

...На столе, помимо сервированного чая, стояла высокая бутылка рислинга, и Григорий Петрович ловко, даже изящно налил три лафитника.

— Я не пью, — сказала Вера Ивановна. — Я слышала, что такое вино крепится водкой.

Григорий Петрович понимал, для чего и прошлый раз и сегодня приглашена Вера Ивановна, и не одобрял этой ненужной щепетильности — разве Лидия Васильевна теперь не свободна, не располагает собой? Но, не одобряя этого, он сердился больше на безвинную соседку, которая будет и сегодня мешать их уединению.

— Это напрасные страхи! — сказал он, сурово взглянув на Веру Ивановну. — Это натуральное, сухое вино! Классическое! Крепятся же портвейны, и то только неважные сорта!

Вера Ивановна произнесла свое «вы думаете?», и Григорий Петрович, возможно, не обратил бы на него внимания, но в прищуренных глазах женщины было что-то снисходительное, и это задело: мало того, что сидит тут, мешает, а еще и...

— Впрочем, сие не бог весть какой пробел в вашем образовании, — сказал он, милостиво улыбаясь. — Я знал одну особу, тоже кандидата наук, которая, прочтя на бутылке шампанского слово «сухое», очень удивилась, что, несмотря на такую категорическую

надпись, вино в бутылке было все же жидкое, а не в порошке!..

— Я вижу, вы в этой области очень сведущи! — Вера Ивановна, закулив, отстранила длинный мундштук и, чуть улыбаясь, следила за тонкой, как голубая шерстинка, струйкой дыма.

Григорий Петрович хотел было ответить что-то ядовитое, но Лидия Васильевна перебила:

— Ну хорошо! Хорошо! За что же мы выпьем?..

Мимо веранды, смотря в землю, прошла в черном платке дачная хозяйка, и Лидия Васильевна, вдруг приподнявшись, секунду помедлив, окликнула ее:

— Евдокия Михайловна! Пойдите, пожалуйста, сюда... Вот с нами...

Когда был налит четвертый лафитник, как-то само собой получилось, что выпили за покойную Авдотью Алексеевну — так звали мать хозяйки. Поморщившись и концом черного платка вытерев губы, Евдокия Михайловна, не присев за стол, ушла. После нее наступило молчание — слышно было, как под шагами ушедшей, затихая, хрустит положенный на задних дорожках дачи новый щебень...

— У нас как-то в институте, — заговорила Лидия Васильевна, красивой полной рукой раздавая чашки с чаем, — был доклад о кибернетике... Уже, оказывается, изобретены машины не только подсчитывающие, а как бы думающие... Во всяком случае, они могут переводить с одного языка на другой... — Она опустила руку, посмотрела в сад, где уже ложились вечерние тени. — А вот люди умирают так же просто и так же нелепо, как и тысячу лет назад...

— Сколько ей было лет? — спросила Вера Ивановна.

— Семьдесят шесть.

Не оставляя сигареты, мешая дым с чаем, Вера Ивановна отпила из чашки.

— В сущности, как мало! — сказала она. — Простой базарный гусь, если его не трогать, доживет до ста лет!..

Мимо ограды дачи проехали на больших мужских велосипедах две маленькие девочки. Не доставая до

седел, они, стоя на педалях, болтались между седлом и рулем, непрерывно щебеча тоненькими голосами и вскрикивая от смеха.

Проводив их глазами, Григорий Петрович сказал:

— Такими вещами, как долголетие или борьба с опасными болезнями, должна заниматься не та или другая страна, а все человечество! Но, увы, большая часть человечества занята сейчас, извините, малопочтенной деятельностью — выделкой и накоплением оружия... В этом все дело! Конечно, работают и над всякими, так сказать, «штатскими» проблемами, но в полсилы! В четверть силы! Вроде наших, если помните, ширпотребских цехов, что появились после войны. Тут, скажем, громадный, великолепный, многокорпусный завод тракторов и комбайнов, а во дворе, в дощатом полутемном сарайчике, мастерят детские коляски... Две-три штуки в неделю... И что же в итоге? И сами «штатскими» делами они плохо занимаются и другим мешают!.. Нам, например...

Вера Ивановна усмехнулась.

— Вы ругаете общеизвестное! Ну что же, я тоже могу к вам присоединиться.— Она помедлила.— Но в данном случае накопление оружия тут ни при чем! Мечта о долголетию,— Вера Ивановна решительно постукивала мундштуком о пепельницу,— это тысячелетняя мечта человечества! О долголетию мечтали, для него составляли рецепты и эликсиры еще тогда, когда никаких милитаристов не существовало, когда войны вспыхивали крошечные и главным были, как вы их назвали, «штатские» заботы — сиречь обыкновенная мирная жизнь... И все же, несмотря на это... то есть, я хочу сказать, несмотря на то, что ничто человечеству не мешало, все же вопрос о долголетию, начиная с глубины веков и до сегодняшнего дня — с этим вы согласитесь! — не продвинулся вперед!.. Гуси и тогда и теперь были впереди!..

— Ах, Вера Ивановна, не стоит человечество упрекать в лени и бесталанности,— сказал инженер.— Мы потому, простите, такие умные и самоуверенные, что пользуемся плодами науки, разработанной предыдущими поколениями... Хотя бы из вежливости, им

надо сказать спасибо... Поверьте, что ни спутников на небе, ни «думающих машин» не было бы без них...

Григорий Петрович резко отодвинул чайную чашку, откинулся на стуле, и он затрещал под его большим телом.

— Но вот теперь,— продолжал он,— когда наши знания достигли такого уровня, что уже можно всерьез заняться оздоровлением человечества, можно дать ему долгую жизнь, в это время в конгрессе встает добрый дядя, докладывает, что на вооружение истрачено уже двести миллиардов, и просит еще... Двести миллиардов! Ведь это не только материальные ценности, выброшенные на ветер! Это еще затраченные знания, смекалка, находчивость, бессонные ночи изобретателей, исследователей, открывателей! Это игра ума, когда рождаются гениальные открытия!.. И они рождались, но, увы, не для человечества, а против него! — Инженер длинным пальцем зачеркнул что-то в воздухе.— Вот почему ваша Авдотья... Алексеевна не задержалась на земле...

Лидия Васильевна заметила у Григория Петровича складку у рта, которая появлялась, когда он волновался, и, чтобы отвлечь его, она сказала:

— А вот когда я была в Абхазии, у нас через дорогу жил старик ста пятнадцати лет...

И разговор, помедлив, перешел на знаменитых кавказских старцев, потом передвинулся ближе к побережью — к домам отдыха, где жили; к пляжам, где купались...

Было уже поздно, когда встали из-за стола, однако Григорию Петровичу можно было не спешить с отъездом. Вера Ивановна, сославшись на срочную работу, ушла к себе.

Солнце уже село, но закатное небо, усеянное перистыми облаками, было ярко-огненного цвета, того цвета, который в это время держится несколько минут, освещая все вокруг, как заревом. Евдокия Михайловна и толстенная Маша собирали у себя в садике чай, и белый чайник, стоящий на самоваре, от необыкновенного неба был пунцовым, словно из самоварной трубы вырывалось пламя.



Григорий Петрович, перекинув через руку свое темное, длинное, недавно охаянное Лидией Васильевной пальто, подошел к выходу. Сейчас, стоя во весь рост на маленькой веранде, он казался еще выше.

— Ну хорошо,— сказал он,— а проводить меня на станцию вы без Веры Ивановны можете?

Лидия Васильевна, радуясь его словам, тихо засмеялась. Она посмотрела на него снизу вверх — любяще, внимательно.

— Могу... И даже не сразу на станцию,— проговорила она, дотрагиваясь до его большой руки,— а еще зайдем, тут недалеко, и нарвем черемухи вам на дорогу...

\* \* \*

Когда Лидия Васильевна, проводив гостя, вернулась домой, у темной калитки ее встретила Евдокия Михайловна. Они постояли молча, не зная, о чем говорить. Евдокия Михайловна смотрела на дорогу, по которой сегодня утром унесли ее мать... Сейчас на эту дорогу то слева, то справа ложились желтые, веселые квадраты света, падающего из освещенных открытых окон дач, и в вечерней тиши слышались оживленные голоса людей, патефонов, радио...

— Так вот она, жизнь, и идет! — помолчав, глухо сказала Евдокия Михайловна. — Одно кончилось, другое начинается... — Она обернулась к Лидии Васильевне. — Или вот меня взять: надела тетя черный платок и, наверно, ничего не видит... Нет, вижу! С уважением он к вам относится, любит... — Евдокия Михайловна двинулась от калитки. — А наволочки, что просили, уже постирала, сушатся, завтра подам...

— Спасибо.

И, лежа той ночью в постели, вспоминая весь тяжелый, беспокойный сегодняшний день — и утренние похороны, и вот недавний невеселый разговор за чаем, — из всего увиденного, услышанного, как бы поверх их, донеслись до Лидии Васильевны слова у темной калитки. Пусть их сказал не он, а за него, но значит — да, да...

И она заснула счастливая.

---

## ДЕД-МОРОЗ

**В** маленьких городах часто бывает: встретишь утром человека, и потом весь день то там, то здесь видишь его.

По делам одной редакции я ехал в район к прокурору Кружилину. В вагоне против меня чинно сидела молодая в темной меховой шапочке женщина со стопкой ученических тетрадей на коленях. Сняв одну варежку, она спокойно и монотонно открывала голубенькие обложки, видела на первой строке крупно написанное «диктант», и красный карандаш в ее руке, как бы поклевывая буквы, начинал, пятясь, спускаться по строкам.

Только на остановках женщина поднимала голову, вглядывалась в окно и снова возвращалась к тетрадям.

На одной из станций к ней подсела другая — быстрая, черноглазая, в шубке с наброшенной рыжей лисой. Они поздоровались, и вошедшая тотчас, жестикулируя, принялась спрашивать, рассказывать... Лисья мордочка с желтыми глазами, лежавшая у нее на плече, от резких движений женщины стала уползать ей за спину.

Видно было, что молодой учительнице тоже хотелось поговорить, но красный карандаш был на середине страницы, и она только кивала головой, как бы под-

тверждая: «Слушаю, слушаю». Вот конец диктанта; карандаш проводит красную черту и ставит четверку.

— Про маму ничего не знаю! — говорит она, разгибаясь и кладя руки на стопку тетрадей. Глаза у нее спокойные, но грустные.— Для того чтобы мама приехала на мои школьные каникулы, мне надо ей послать сто рублей, а я сейчас шубу шью... По маминому же настоянию... А теперь вот она не может приехать...

— Шубу? Какую? — Черноглазая даже вздрагивает, и лисий стеклянный глаз, блеснув, скрывается за ее плечом.— Какой материал? Где шьешь?

И она расспрашивает подробно, въедливо.

В другом конце вагона слышится смех, и вскоре оттуда улыбаясь идет плотный приземистый человек в серой бекешке.

— Здравствуйте, Анна Сергеевна! — говорит он, обращаясь к женщине с тетрадями.— Спешу за моего Володьку спасибо сказать. Выправили вы его! Уже тройки, а то и четверки теперь приносит...

Пока он говорит, пока присаживается на нашу лавочку, на его румянном, но уже немолодом лице все еще держится улыбка.

— Вот сейчас я рассказывал,— говорит он, кивая в конец вагона,— какие в старое время интересные иконы в Сибири были. Так не верят... Молодежь!.. Вот, например, Николай-угодник: вешний и зимний. «Вешний» — это который в мае, изображался в легкой одежде, в пиджаке, а «зимний» — в тулупе, в рукавицах... И строгий такой — не подступись! Вроде нашего прокурора...

Женщины улыбаются, а черноглазая бойко отвечает:

— Угодников я, конечно, не видела, не встречала, но на дѣда-мороза наш Кружилин очень похож!

— Не тот характер! Не дед-морозовский! — Человек в бекешке, согнав улыбку, вдруг хмурится и отворачивается к окну.

За окном бегут снега, стебли подсолнечника, оставшиеся в поле на зимнюю службу — держать снег, железнодорожные щиты, похожие на составленные буквы «Ж»... Пригородный поезд поворачивает, делает

дугу, и тут показываются первые строения районного центра.

— Предстоит мне сегодня с ним разговор... — со вздохом, как бы про себя, говорит человек в бекешке, продолжая смотреть в окно. — С прокурором-то...

Поезд замедляет ход, проходят темно-красные пакгаузы с серебристыми гребешками сосулес на крышах...



Дом для приезжих был недалеко от школы, и так получилось, что мы с учительницей — с Анной Сергеевной — пошли по одной дороге. На правах приезжего я расспрашивал ее о том о сем. Она охотно, но сдержанно отвечала. Оказывается, она ездила на станцию Мереша в надежде, что там в книжном магазине — в глуши — она застанет «Радищева в русской критике». Но и там свои учителя растащили. Тут ее досада перекинулась на московскую «Книга — почтой»...

Пока мы шли по снежной улице, чуть не каждый встречный здоровался с моей попутчицей: «Здравствуйте, Анна Сергеевна! Здравствуйте, Анна Сергеевна!» Но было ли то обычным явлением для маленького города, где все друг друга знают, или чем-то большим?.. Встретилась толстая женщина в тяжелом теплом платке. Она поздоровалась с кем-то идущим впереди нас и тут же:

— Здравствуйте, Анна Сергеевна!

Ну, конечно, все другое — там просто мимоходный поклон, а тут от души... Я подумал о том, что не со мной, а со своей матерью надо было бы идти моей попутнице — порадовалась бы старушка этим веселым и ласковым «здравствуйте». Но она не увидит этого. Тут я вспомнил о вагонном разговоре: мать не придет на школьные каникулы...

У двери Дома для приезжих мы простились.

В светлой передней с недавно вымытыми крашеными полами было жарко натоплено. Когда я подошел к столу для записи приезжающих, полная, в ситцевой кофте девушка сидела, круто оборотясь к двум женщинам со швабрами в руках. Я услышал их разговор:

— Где же Дитятинов оказался?

— Говорят, за две тысячи верст... На Урале.

— Скажи пожалуйста! — порадовалась одна из уборщиц. — Как далеко наш прокурор руку протягивает...

Тут полная девушка заметила меня и, повернувшись, взяла паспорт, который я уже выложил на стол.

\* \* \*

Через час, разложив вещи, я отправляюсь в районную прокуратуру. На широкой с накатанным снегом улице рядом с новыми домами виднеются и старые, бревенчатые — типичные для северорусских крестьянских построек: двухэтажные, с подклетью внизу. В одном из таких домов и помещается прокуратура.

Я поднимаюсь на второй этаж и вхожу в приемную в тот момент, когда из противоположной двери выходят двое: женщина в белых валенках и высокий статный человек с короткой русой бородой. Женщина, держа какую-то бумагу, кивает головой, благодарит и идет к выходу, а мужчина обращается ко мне: не к нему ли я?

Я понимаю, что это Кружилин и есть, и объясняю ему цель прихода. Тонкими красивыми пальцами он проводит по бороде, как бы раздумывая, и говорит, что сейчас у него время приема, а вот часов в пять он освободится и тогда можно подробно поговорить.

— Впрочем, может быть, вам интересно будет посидеть на приеме? — добавляет он. — Это ведь тоже входит в круг обязанностей прокурора... Пройдите! — говорит он, взглянув на человека, только что вошедшего в приемную.

Мы входим в кабинет — небольшую светлую комнату со столом, парой стульев и жестким диваном. Первое замеченное мною — что-то густо-оранжевое на белой стене. Это тяжелый широкий тулуп, висящий рядом с форменной шинелью.

Да, прокурор не городской служака — улицу перейти или на трамвае доехать... Тут, наверное, закладываются санки, и Кружилин, обрядившись в шинель

и тулуп, по морозу, по просторным снегам, мчится в дальний угол своего района... Я вспоминаю вагонный разговор — действительно, в оранжевом тулупе, с русской бородой, прокурор должен напоминать деда-мороза. Только вот дела у него не дед-морозовские, и гостинцы не те...

— Это вы и сами должны были знать, товарищ Суражин! — Голос Кружилина гулко раздается в полупустой комнате. — Я представил это в райсовет как нарушение колхозной демократии. Председатели колхозов не назначаются, а выбираются!..

На краешке стула, ссутулясь, сидит рыжеватый человек с почтительно-сокрушенным выражением на лице.

— Я же сам такого мнения придерживался! — оправдывается он. — Ну, какой я председатель?.. А товарищ Красильщиков изволили распорядиться.

После этого посетителя — вот снова встреча — входит черноглазая попутчица по вагону. У нее возбужденный вид — желтая лиса и с головой и с лапками отброшена за спину, и горжетка как бы душит женщину.

— Василий Васильевич! — поспешно, не садясь, говорит она. — Я только что узнала, что Дитятинов прибыл... Я вам оставляла заявление, что он исчез, не заплатив за электричество за август месяц! И нам пришлось вместо него... Распорядитесь, пожалуйста, чтобы он нам это вернул, а то опять... уедет.

— Нет, уж теперь он не уедет...

По лицу прокурора я вижу: ему неудобно, что при постороннем человеке приходят в прокуратуру вот с такими делами... Но служба службой, и, в конце концов, пустяковые дела — это тоже его дела.

— Я ваше заявление помню... — В его карих строгих глазах усмешка. — Что другое, а по этому счету Дитятинов рад будет заплатить...

Эту фамилию я слышал еще в Доме приезжих и, пользуясь тем, что женщина ушла, а нового посетителя пока нет, спрашиваю об этом человеке. История его довольно короткая.

...Налоговый агент Дитятинов разъезжал на велосипеде по колхозам района и собирал налог. Вынимал

толстую книжку, писал квитанцию, прятал деньги и ехал дальше. Закончив поездку, вернулся вот сюда, в районный центр, сдал — чтобы не держать у себя — деньги в банк и отправился домой писать отчет.

Но отчета этого не дождались — Дитятинов куда-то исчез. Хватились его не сразу и забеспокоились: не случилось ли с человеком несчастья? И прокурор тоже забеспокоился, но, в отличие от других, он не мог ограничиться этим — надо было действовать.

И вот, сличив квитанции и сданную в банк сумму, Кружилин и следователь установили, что агент исчез хотя и внезапно, но отнюдь не загадочно — с десятью тысячами... («Если не считать еще счета за электричество», — с очень серьезным видом прибавил Кружилин). Теперь Дитятинов найден, привезен и будет судим тут, в районе.

Посетители опять пошли — по арендным делам, по торговым, по колхозным. Последних дел больше всего — район сельскохозяйственный. У Кружилина строгий, уверенный голос. Начав говорить, он доводит мысль до конца, но отзывается и на реплики. Можно представить его на суде в «прениях сторон», однако и тут, в делах, «в порядке надзора», он непреклонен. Будто советует, как лучше поступить, но советчик он особый — за ним закон.

— Платить надо!

Перед Кружилиным сидит тот плотный в серой бекешке человек, который еще в вагоне говорил, что у прокурора не дед-морозовский характер. Лицо его густо-розово, он, видимо, где-то закусил, опять повеселел, но держится напряженно, стараясь быть озабоченным. Он представитель конторы «Заготлен», которая должна колхозу «Заветы Октября» восемь тысяч.

— Платить надо! — повторяет Кружилин, и брови его сходятся на переносице. — И не тянуть! Пользуетесь, что председатель там рохля и в суд не подает. Так подаст!.. Для колхоза эти бродячие, неуловимые долги дорого стоят!

— Ну уж, какие там неуловимые, Василь Васильч! — Посетитель хочет отшутиться. — Мы все на старом месте, на той же улице квартируем...

Но прокурор не принимает шутки. Средним пальцем поскребывая по щеке, по бороде, пристально смотря на представителя, ждет ответа. И тот начинает мять в руках каракулевую шапку.

— Мы думали, как свои люди...— говорит он, пожимая плечами,— в первом квартале расплатимся...

— Не выйдет! Раньше! Раньше!..

\* \* \*

Мы идем по узкому снежному тротуару, посыпанному золой. Прием окончен, но Кружилину еще надо зайти в райфо, в райпотребсоюз — были кое-какие жалобы на них. В шесть часов, после обеда, прокурор уже свободен и поподробнее расскажет о своей работе.

Широкая улица просматривается до конца, до далекого горизонта, утонувшего в снегах; с другой стороны, за последними домами, сразу начинается лес. На низкое, в морозной дымке, желтое солнце можно смотреть не щурясь, как на нарисованное. Но лучи его все же доходят до леса и румянят снег на вершинах.

— Простите, вот зайдем на минутку сюда! — говорит Кружилин, останавливаясь перед одноэтажным зеленым домом.

Мы заходим со двора, и прокурор, сбив перчаткой с плеч и с рукавов шинели снег, открывает низкую обитую войлоком дверь.

Мы оказываемся в теплой, полутемной передней с зеркальцем, вешалкой на стене и с какими-то вещами слева. Большой, высокий Кружилин задевает за что-то, и слышен звон струны. Показывается женщина со сковородкой, и исчезает, кого-то окликнув.

В переднюю выходит уже знакомая мне учительница Анна Сергеевна. Без шубки, в темном платье, она кажется тоньше, совсем девочкой. Но тон, которым она приглашает войти в комнаты,— взрослый, спокойный.

— Нет, разрешите не входить,— говорит Кружилин, и громкий голос его заполняет всю маленькую переднюю.— Я на минутку... Скажите, Анна Сергеевна, вы колхозу «Заветы Октября» уплатили за пастьбу вашей коровы?



— Да, конечно, Василий Васильевич... Сто пятьдесят рублей.

— Правильно: сто пятьдесят... У вас квитанция есть?

— Есть... Я сейчас покажу...

Она хочет куда-то идти, но Кружилин останавливает ее.

— Не нужно... Так вот, можете с колхоза получить эти деньги обратно... Такой уж у них председатель: с кого надо долги получать — стесняется, а с кого не надо — торопится...

И Кружилин напоминает о постановлении Совета Министров, где сказано, что учителям разрешается бесплатно пользоваться выпасом.

В другое время Анна Сергеевна, наверное, сказала бы спокойно, с достойным видом «спасибо» или «благодарю вас», но тут она бросается вперед, касается рукой холодной шинели Кружилина.

— Слушайте, Василий Васильевич, вы действительно дед-мороз! — Она улыбается, глаза ее блеснут. — Мне как раз ста рублей не хватало!.. Ведь теперь мама сможет приехать ко мне на каникулы...

Мы выходим на улицу. Через дорогу, на той стороне, я узнаю двухэтажный Дом приезжих и прощаюсь с Кружилиным до вечера.

\* \* \*

В двух комнатках прокурорской квартиры было гесновато, сумрачно от разросшихся бегоний. Их острые, в серебряных крапинках, листья загораживали свет низких, по провинциальному небольших окон. Жена Василия Васильевича поехала на два дня в Ярославль, и прокурор сам хозяйничал дома — постелил скатерть, приготовил чай.

Кружилин подробно, пунктуально рассказал мне о своей работе — как идет служебный день, какие бывают дела, важные и пустяковые, даже какие попадают курьезы и так далее.

— Тут все ясно, все железно, все справедливо! — сказал он, отстраняя недопитый стакан чая. — Есть

прокурор, есть закон, есть кодексы, указы и все такое... А вот представьте себе...

Василий Васильевич поднялся и зажег свет. Комната стала просторнее, ярче проступили серебряные крапинки на бегонии, и теперь было видно, что чайную голубую скатерть прокурор постелил наизнанку.

— ...Вот представьте: человек украл сто казенных рублей,— продолжал он,— пожалуйста бриться! Есть статья, есть параграф... Тот же человек по своей глупости и тупости пустил на ветер не сто рублей, а сто тысяч казенных денег — и ничего! Мы говорим: «Как жалы! Как жалы!» — и переводим этого заведомого дурака на другую работу. Прокурор это видит? Видит. Но против дураков и тупиц нет ни параграфа, ни пол-параграфа! Или возьмите случай поделикатнее. За украденное пожалуйста к ответу, а если ты лизоблюдством выманил у начальника премию, то ты устраиваешь вечеринку и даже прокурора — если с ним знаком — в гости зовешь...

— Есть свойства души, которые...

Но Кружилин не дал мне договорить, почему-то усмотрев в моих словах какую-то поблажку.

— Свойства души! — Глаза его зло блеснули. — Разве это оправдание!.. Или вот возьмите случай совсем уж не прокурорский! Например, сидит в служебном кабинете мутноглазое, равнодушное существо, вроде мороженого судака...

Мы еще долго говорили на эту отвлеченную тему, выискивая ненаказанное и ненаказуемое зло, и я, смотря на бородача, которого учительница назвала дедом-морозом и который тут, среди снегов глубинного района, сегодня, при мне, судил и награждал, я подумал о том, что у народа (в том числе и у прокурора) есть точное представление, что именно омрачает и что радует жизнь. И странно, что одних омрачителей мы отстраняем от себя, а других нет. И поступать так условились не вчера и не пятьдесят лет тому назад, а гораздо раньше. Не потому ли так живучи лесть, равнодушные, эгоизм...

## ВСТРЕЧА С МОЛОДОСТЬЮ

**М**ашина выехала на прибрежную улицу: слева шумела река, справа, прячась в глубине садилов, стояли низкие, со стеклянными верандами дома.

— Сейчас будет гостиница, — сказал шофер. — Вы забросьте чемодан и ждите меня у калитки. На обратном пути я вас подхвачу на шлюз, — он посмотрел на часы. — До торжественного открытия еще пятьдесят минут осталось... Вам, конечно, интереснее заранее быть.

— Спасибо, — ответил Феоктистов. — Вы меня не ждите. Я уж сам как-нибудь. С дороги надо умыться, чаю попить... Жара ужасная.

В прохладном вестибюле гостиницы женщина в синих тонких брюках, волнуясь, спрашивала по телефону, почему открытие шлюза будет вдруг на час позже. Проходившие мимо двое мужчин с влажными после умывания лицами, прислушавшись к ее разговору, заспорили, успеют ли они на открытие, если пойдут купаться на реку.

И рыженькая, с веснушками на остром носике, девушка, которая провожала Феоктистова в номер, спросила:

— Вам вторую подушку сейчас дать или когда со шлюза вернетесь? А то наша кастелянша уже ушла на открытие.

Феоктистов с наслаждением снял пиджак, провел ладонью по полной шее и грузно опустился на стул.

— Я вижу, что открытие шлюза для вас событие! — улыбаясь, сказал он и озорно покосился на рыженькую. — Хотите, Ниночка, я вас удивлю, озадачу? Я на шлюз не поеду! Повидал я их... Не за этим я приехал. Поэтому, если можно, давайте вторую подушку сейчас. \*

Через час, когда Феоктистов умылся, попил чаю и, сняв ботинки, лежал на кровати, с улицы слышался шум подъехавшей машины, а в вестибюле — голоса, топот ног. Машина отошла, и за колеблющейся от ветра оконной занавеской голоса, затухая, пропали.

В гостинице все смолкло, наступила тишина и, как всегда в безмолвии, стало немного грустно. Но прошло минут пять, и снова подъехала машина, снова в вестибюле раздались голоса и шарканье ног. На этот раз уехали не сразу: кто-то возвращался в комнаты, что-то, судя по тяжелым шагам, тащили. В номер, блестя карими глазами, вбежала рыженькая Нина.

— Товарищ приезжий! — быстро проговорила она. — В грузовике свободно и могут вас взять... Я сказала, что в гостинице вы остались один-единственный... Поскорее, а я скажу...

И она убежала. «Не поверила, дурочка, что я не поеду!» — подумал Феоктистов и, помедлив, улыбнувшись, стал не спеша надевать ботинки.

Машина была подана под буфет. В кузове стояли ящики с пивом, с хлебом и еще с чем-то, закрытые клеенкой. Когда Нина подвела Феоктистова к грузовику, женщина в белом переднике, сидящая рядом с шофером, взглянув на представительную фигуру приезжего, вышла из кабины, уступая ему место. Феоктистов было запротестовал, но Нина, как старому знакомому, шепнула ему: «Ничего, ничего — она помоложе вас!»

У въезда на плотину грузовик задержали: путь был пока однопколейный, а машины, как передали по телефону, уже вышли с левого берега. Однако шоферы автомобилей, скопившихся у въезда, гудя сиренами, по-

нуждали пожилую женщину в выгоревшей военной гимнастерке открыть шлагбаум — тонкую полосатую жердь.

Ближе всех к жерди стоял грузовик какой-то киногруппы; в нем все двигалось, мелькало, кричало. Из него выскочила женщина, которую Феоктистов видел в гостинице, — теперь на ней было рабочее парусиновое платье — и побежала к дощатой будке. Переговоры со сторожихой, видимо, ни к чему не вели, и на подмогу к женщине из грузовика выпрыгнули еще двое с целлулоидными козырьками на лбу. Для убедительности они захватили с собой кое-что из аппаратуры: желтый треножник и кругловатый, серебристый, весь как бы сучковатый от объективов и окуляров предмет. Было видно, как они потрясали треножником, сверкали линзами, но жердь не поднималась...

Феоктистов любил людей, преданных своей профессии, и потому невольно переживал состояние кинематографистов: на левом берегу, может быть, уже начинается шлюзование, а треножники и линзы находятся на правом!..

Но все кончается. Блестя ветровыми стеклами, показались встречные машины, шлагбаум поднялся, и все нетерпеливое, застоявшееся на правом берегу тронулось вперед.

Феоктистов проехал аванкамерный мост, началась неровная дорога по плотине, и он, ссылаясь на тряску, попросил шофера остановиться и вылез из машины.



Когда машина уехала, он еще яснее почувствовал, почему не хотел идти на открытие шлюза: он был бы там в шуме и не один... В Ленинграде же мечталось: шаг за шагом обойти, постоять, вспомнить... Так до войны ездил в Тулу: Николо-Завальская улица; забор, на который лазили за грушами; не доходя дома — телеграфный столб, молча и безжалостно ловивший их бумажные змеи; и, наконец, сам дом — конечно, и меньше и ниже, чем казался когда-то...

Феоктистов сошел с дороги, и пошел вдоль бетонных «бычков», которые плавной дугой тянулись к тому берегу, откуда доносился гул народа, собравшегося у шлюза. У одного «бычка» он остановился: обращенная к правому берегу сторона «бычка» была вся мелко и часто избита пулями.

«Вот про этот, наверно, Константин писал...»

В письме говорилось, что один «бычок» оставили нарочно без ремонта, чтобы показать, как близко подбирались наши разведчики к правому, занятому тогда еще немцами берегу. Он посмотрел на это расстояние. Оно действительно было очень коротким, коротким для немецкого пулемета...

Феоктистов помнил по газетным фотографиям вывороченные, косые глыбы бетона, оставшиеся на плотине от немецкой взрывчатки, и казалось странным, что все то страшное уродство уничтожено, сглажено — плотина в прежней, памятной ему красе, а эти вот оспинки от пулемета оставлены...

— Чем, милый, любишься?

К нему, не торопясь, перешагивая через доски и арматурное железо, лежащее у «бычков», подходил старик в брезентовом с капюшоном плаще, какие обычно носят сторожа и в котором, несмотря на жару, старик, видимо, чувствовал себя очень хорошо.

— Да так вот... смотрю,— неохотно отозвался Феоктистов, кивая на щербатый бетон.— Следы остались...

— Не подумай, что забыли, мимо прошли. Нарочно оставили...

— Знаю.

Старик, вероятно, хотел объяснить подробно, но это «знаю» остановило его. Однако тут же он сказал то, что словно отвечало мыслям Феоктистова.

— Все немецкие разрушения и в плотине, и в шлюзе, что вот сегодня заново открывают, в лучшем виде заделали, а это хоть дела тех же рук, но о нашем геройстве говорят... Попробуй-ка в темноте да в холоде через все пропасти под огнем пройти и вон где оказаться! — добавил он вызывающе, горделиво, будто это он сам тогда действовал в темноте и в холоде.—

А ведь он, умный, для того и плотину кромсал, чтобы отделиться и в покое на правом берегу сидеть... Не посидел...

Феоктистов отмахивался от мелкой мошкары, которая лезла в глаза, в нос, в рот. Она нападала на него сегодня весь день: на аэродроме, на грузовике,— только вот в гостинице он от нее отдохнул. Старика же, видно, она не трогала.

— Вы новенький, поэтому она и лезет,— сказал старик, с любопытством рассматривая столичные, с фигурными вырезами, белые ботинки на Феоктистове.— Говорили, что в июле на эту мошкарку специальная стрекоза прилетит, которая и будет ее поглощать.— Он поднял на собеседника острые, но добродушные глаза.— И прилетела. Но поглощать не стала!.. Да и кому охота эту дрянь кушать. Вот я сейчас закурю,— добавил он, вдруг сердито взглянув на бурый рой, слева налетевший на Феоктистова.— Для новеньких одно спасение — дым...

Этот сердитый взгляд-сочувствие заставил Феоктистова улыбнуться. Старик вынул из-под брезентового плаща жестяную коробочку, в которой оказались две тоненькие дешевые папиросы, известные под названием «гвоздиков». Он протянул коробочку Феоктистову. Эта щедрость тронула, и Феоктистову захотелось в ответ сказать этому чужому, доброму человеку, может быть, не бог весть что интересное для него, но свое, потаенное. Он быстро вынул из кармана портсигар.

— Спасибо! Попробуйте лучше моих,— проговорил он, загораживая портсигаром коробку. И когда они закурили, Феоктистов заметил, будто между прочим:— А я, отец, не новенький. Работал тут... Давно, конечно, когда первый раз гидростанцию строили.

— Вон как! Что же, взглянуть потянуло?

— Потянуло...

— Это быв... ает... бывает,— старик кашлял от непривычного табака.— Что на сад посаженный тянет взглянуть, это понятно, без этого нельзя... А я, помню, вдове одной сарай построил. Не растет и не цветет,

а тоже нет-нет завернешь на него посмотреть... Ну, а сюда, конечно...

Он рукой широко повел вокруг себя, но Феоктистов смотрел через его плечо, где из верхнего бьефа в полете между «бычками» ровным и даже тихим потоком шла темно-серая вода, не подозревая, что через какую-то секунду она будет падать с огромной высоты шумным — в радугах и брызгах — каскадом. Белые облака на далеком водяном горизонте лежали так низко, что, казалось, плыли по реке. Справа, у того берега, отбросив черную тень на воду, стоял украшенный разноцветными флажками пароход, видимо ожидавший первого прохода через шлюз.

— Молодость моя тут. Вот еще что, — сказал Феоктистов, продолжая смотреть на воду. — Для меня это первая стройка была... Первые товарищи, первый раз на большом народе... В комсомол тут же приняли.

— Кем же вы работали? — спросил старик, стесняясь своего любопытства. — Прорабом, инженером?

И узнав, что простым бетонщиком, заулыбался, дыхнул дымом на подлетевшую мошкарку, помолчал.

— Я так полагаю, — сказал он, — что плотина или станция там, конечно, тоже не растут и не цветут, а вот человек через них продвигается. Я к тому говорю, что начали вы с простого, а теперь образовались до сложного. А через человека — и государство...

Проехали два грузовика с оркестром. Из-за белого блеска труб смутно различались музыканты. Они что-то наигрывали — настраивались, видимо желая с музыкой въехать на торжество. Феоктистов вспомнил, что Константин играет в оркестре и, наверно, он тут сейчас проехал.

\* \* \*

— Вы такого Вакуличева Константина не знаете? — спросил он старика.

— Костю-то? Знаю. С левого берега, арматурщик.

— Он сейчас с оркестром не проехал? Я его по карточке только знаю...

— Нет, никак... — Старик живо, с готовностью обернулся и, хмуря белесые брови, взгляделся в машину,



которая уже так далеко отъехала, что только блесело круглое жерло баса-геликона.— Никак не мог! Он же на завод три дня назад железо поехал принимать!..

Старик видел, что это сообщение огорчило приезжего, но он не стал расспрашивать, а только молча и выжидательно смотрел на него. И Феоктистову неудобно было не сказать.

— С отцом его вместе воевал. Вместе в Вену вошли. И глупо получилось: несколько раз он ранен был — выздоравливал, а осложнение от гриппа, и все...

И он рассказал, что переписывался с сыном приятеля, собирался как-нибудь летом увидеть его, передать легкий фронтной багаж отца — бумаги, фотографии, старые письма, но все как-то задерживали то дела, то обстоятельства. И вот, узнав недавно, что Константин с этой весны работает здесь, он решил в отпуск, по дороге в Крым, заехать сюда. Исполнялось и второе желание: посмотреть гидростанцию, на которой когда-то работал. А вот Константина нет: уехал за железом.

Старик все понял, но, видимо, больше он обратил внимание на материальное.

— Вы зря расстраиваетесь! — живо сказал он.— Вещички можно сестренке его отдать.

— Да разве она тут! Она же под Саратовом.

— Тут, конечно, тут! — медленно начал он, радуясь, что удивил приезжего и что теперь можно приняться обстоятельно рассказывать.— Где жила она, это я, конечно, не знаю, но только брат ее сюда вызвал, и сейчас она в гостинице техперсоналом... Да, техперсоналом... А собирается, да и брат ее подбивает...

— Так ведь сестру Ниной зовут? — не спросил, а, вернее, вслух вспомнил Феоктистов.

— Так точно: Ниной зовут...

И пока старик рассказывал, Феоктистов заново припомнил, как рыжая, остроносая девушка спросила его о второй подушке, как пришла сказать об автомобиле...

— А вот и она! — сказал старик, глядя за спину Феоктистова.— Не удержалась, тоже на шлюз бежит.

Феоктистов обернулся и увидал на том конце плотины далекую фигурку в белом. Какое было на ней платье в гостинице, он не помнил, но знал, что не это, не белое, и он на таком расстоянии не узнал бы ее, если бы не рыжие волосы.

— Что же, барышню надо встретить! — подмигнув, как давнишнему знакомому, сказал он старику и пошел навстречу Нине.

Но, странное дело, он испытывал смущение. Он не знал, какие первые слова он должен сказать... Мошкαρα, как только он вышел из-под защиты старика, снова набросилась на него.

«Дело не в первых словах,— подумал он,— а вообще...»

Это «вообще» было неясно для него еще в Ленинграде, но как-то до встречи с детьми Вакуличева это не беспокоило. И вот наступило... Он был женат, имел детей, но совершенно не представлял, как он должен отнестись к детям товарища. Ну, положим, это не дети, а взрослые люди, но ведь не настолько, чтоб у него к ним могла от отца перейти дружба...

— Я по паспорту узнала!.. Вы дали на прописку... Я догадалась,— подбегая, часто дыша, проговорила Нина.— Костя знал, что вы в июле приедете. В июле, а дня точно мы не знали... Костя в командировке, скоро будет.

— Конечно, мне надо было бы дать телеграмму. Но я думал, что вы сидите на месте.

Новыми глазами смотрел он сейчас на нее, сравнивая с худенькой девочкой в мешковатом платье, изображенной на одной из карточек, оставшихся после Вакуличева. «Да и верно: похожа на отца,— думал он.— А рыжее, наверное, от матери». Он улыбнулся, вспомнив, как она, не слушая, отправила его на открытие шлюза. И зря, Нина! Нет, недаром он не хотел идти сегодня. И даже вот встретиться с кем-то из младших Вакуличевых он мог, не уходя из гостиницы!..

По тому, как она, улыбаясь, блестя узкими, карими — отцовскими — глазами, подбежала, взяла его за локоть, он понял, что об одном не подумал: кроме его чувства к ним, есть и их чувство к нему. И если из-за

большой, сложной жизни в Ленинграде он не знал, как отнестись к детям погибшего Вакуличева, то у них из-за юного еще возраста все было проще, яснее...

«Ну да, конечно! — быстро подумалось ему. — Я был друг отца, значит, и их друг. Но особый...»

И это «особый» обрадовало, успокоило, как что-то решенное не только для них, но и для него самого.

— Ну что же, раз все спешат на шлюз, то и мы пойдем! — сказал он, не задумываясь о том, что надо делать и говорить. Он взял ее за руку, на которой почувствовал кольцо, и, раскрыв свою ладонь, действительно увидел на ее мизинце тоненькое девичье колечко с голубым камешком. — Кстати и свой бетон посмотрю, — добавил он. — Я Константину писал, что мой бетон ближе к левому берегу. Сегодняшний день будет не в счет: из-за народа ничего не увидишь, да и неудобно при всех голые неинтересные глыбы рассматривать...

С того берега вместе с порывами ветра доносилась музыка; разукрашенный флажками пароход с черной короткой тенью на серой блестящей воде продвинулся ближе к шлюзу. На палубе его что-то заблестало, и Феоктистов, взглядевшись, различил в этом блеске похожее на огромный калач грузное, добродушное тело баса-геликона. Старик, привалившись к поручням плотины и угловато выставив капюшон на брезентовом плаще, тоже смотрел на пароход, на собиравшихся музыкантов.

— Да у них там два оркестра будет! — сказал Феоктистов, чувствуя в ладони тонкое колечко на доверившейся ему руке.

Сказал он это обрадованно, будто о чем-то очень интересном для него, и Нина живо обернулась к нему. Ее радовали тоже не оркестры, тоже другое и свое: она предчувствовала удивление подруг, когда она сейчас покажется на шлюзе с этим статным, важным, приехавшим на торжество гостем — гостем для всех, а для нее с Костей больше, чем гостем...

## НАСЛЕДСТВО



е открывая еще партсобрания, Петр Анисимович оглядел зал и негромко спросил:  
— Саватеев тут?

Никто не отозвался. Тогда из первых рядов смешливый приземистый фрезеровщик Любашин быстро сказал:

— Ему, Петр Анисимович, сейчас не до этого! Он наследство получил...

Парторг поднял черные брови и посмотрел на Любашина: что за шутки! Степенный Осадченко из инструментального цеха, сидящий во втором ряду, понял удивление парторга по-своему: не верит наследству. Неловко улыбаясь, он приподнялся на стуле.

— Верно, Петр Анисимович, верно! — сказал он. — По всей форме... Тетка в деревне умерла, вот и оставила...

— Так неужели Саватеев из-за этого не пришел? — спросил Петр Анисимович, смотря теперь на Осадченко.

— Этого уж я не знаю... Тут должен быть.

В левом углу задних рядов стих говор, послышался шум отодвигаемого стула, и показался вставший из рядов человек лет сорока, высокий, сутуловатый, с очками, поднятыми на большой лоб.

— Кто там мое имя все произносит? — спросил он.

— Так что же ты, Григорий Иванович, там сидишь! — Парторг улыбался, хотя и говорил недовольным голосом. — Тебе же первому докладывать...

— Как же первому, Петр Анисимович, когда второму... Неужели уже передвинули?

Саватеев пошел по проходу и, дойдя до первых рядов, увидел улыбающегося Любашина: это он, наверное, опять начал...

— Все о том же, Алеша? — резко спросил Саватеев, блеснув глазами на Любашина. — Далась тебе теткин пожитки!..

Шутки случались и в цехе, и в столовой, и по дороге домой. Слово «наследство» было какое-то старомодное, тяжелое и основательное, и оно забавляло приятелей Саватеева. Он и сам пошучивал — вытягивался во весь свой длинный рост, покручивал воображаемые усы и говорил спесиво: «А вы что думаете. Да-с, получу-с!» Но не пора ли с этой забавой кончать.

\* \* \*

Шутки шутками, но наследство в колхозе «Высокий берег» действительно было оставлено Марфой Семеновной, ждало его, и пришло время ехать в деревню.

Марфу Семеновну он любил, но видал редко. Когда ездил в деревню к отцу с матерью, то, конечно, бывал у нее. Когда же их не стало, то приезжал к тетке только раз после женитьбы — знакомить жену с деревенской родней, с единственными оставшимися в живых: сестрой матери и ее сыном — двоюродным братом.

Тетка приезжала к ним в Москву почаще, но тоже не каждый год — свои дела, своя жизнь, да и дорога хлопотная: от железной дороги тридцать пять верст на лошадях. На войне у нее погиб сын, и она долго не показывалась. Потом стала приезжать, хвалилась, что теперь от железной дороги автобус ходит, что ездить легко, но снова надолго пропадала. В последний раз — год назад — Марфа Семеновна приезжала на какое-то сельскохозяйственное совещание Московской

области; видел ее Саватеев мельком, к ночи только... И хоть мельком, но заметил: бодрилась, а года брали свое — из-за ужина, помнит, встала не сразу, а по-стариковски опершись о стол.

Умерла внезапно, телеграмма пришла с опозданием — ехать уж было не к чему. Позже, когда утрата как-то отошла, пришло вот это извещение от сельсовета...

Сидя в вагоне и смотря на бескрайние снега за окном, Григорий Иванович вспомнил, что ведь он уже раз получал наследство. Получал не он, а отец от умершей в соседнем селе матери — Гришиной бабки, но он мальчишкой ездил с ним вместе и видал... Не в том дело, что пожитки были небогаты, а уж очень какие-то древние, столетние. И закопченный чугунок, и ухват к нему, и осклизлый ушат для воды, и тяжелый, несдвигаемый сундук с железными — от воров — полосами. А в сундуке — ветошь и чепуха, которую и без полос и без сундука — с открытого места никто бы не взял...

Но тогда все было мило. С грустными, озабоченными глазами отец укладывал на подводу все — до нитки, до черепка. И он, Гришка, нашел для себя интересное: книжку без начала и конца, но с картинками, моток суровых ниток, если навошить — на леску для удочки сойдет... Книжку отец, подумав, отдал сыну, а моток сразу же отобрал.

Тут же в селе отец решил вспрыснуть наследство. Грише купил розовый, в виде рыбки, пряник, а сам направил лошадь к аптеке. Сын хоть и был мал, но знал, что в таких случаях мужики не туда идут, не туда подъезжают... Войдя в аптеку, отец сказал аптекарю: «Мне лекарь от куриной слепоты рыбий жир прописал... Да все, Модест Павлович, как-то было недосуг».

Сын догадался, что это был за «недосуг», если только в день получения наследства отец позволил себе это... Он выпил рыбий жир тут же, выпил добрых полстакана — не поморщившись, ничем не закусив. Аптекарь, невольно морщась за отца, пока тот пил, сказал: «Конечно, это прекрасное средство, но вам,

Иван Федотович, надо правильно питаться... Так сказать, в достаточном и разнообразном количестве».

Отец ответил: «Это правильно»,— а когда вышли на улицу, сказал Григорию: «Вежливый человек, и слова-то подобрал необходимые: «в достаточном количестве». А откуда его взять-то?..»

Потом подвода все же остановилась около углового дома с тремя каменными, стесанными до белизны ступенями. Отец вернулся оттуда порозовевший, с распушенной бородой и, порывшись в каком-то бабкином узле, подал Гришке отобранный ранее моток ниток. И они тронулись домой счастливые.

\* \* \*

Выйдя из поезда, Саватеев действительно нашел на пристанционной площади небольшой автобус.

Опять слева и справа потянулись снега. За одиннадцать лет, которые он тут не был, появилось новое вокруг: то вон у дороги дом с садом, то трансформаторная будка с нестрашным черепом, нарисованным на жестянке; то заводик с трубой; а то и просто гуськом, держа на плечах провода, пошли куда-то молодые, не потемневшие еще столбы...

Через полтора часа Саватеев сидел в здании сельсовета у председателя Кудрина. И дом был новый, и председатель — молодой. И в комнате иначе: шкаф с книгами, письменный стол, стулья. «Скамейки, слава богу, вынесли»,— подумал Саватеев, припомнив, что в былые его приезды на этих скамейках у стен неприятно, будто просители, сидели колхозники.

Кудрин коротко и точно, справляясь по описи, изложил, какое имущество осталось после Марфы Семеновны Увадеевой и как она им в завещании распорядилась. У слушавшего и почему-то надевшего для этого случая очки Григория Ивановича отлегло от сердца. И дома с женой, и еще больше в вагоне, когда вспомнил свою поездку с отцом за бабкиным добром, он мысленно представлял вот то самое, что уже было в его детстве: перебирать тряпки, посуду, залезать в сундуки... Конечно, у Марфы Семеновны все это было

бы попримягднее, поновее, да и просто побольше, но все же куда же это в Москву везти и зачем?

К концу разговора, стряхивая с пухового платка снежную пыль, вошла широкая в плечах женщина с кружками румянца на сухих, обтянутых скулах. Саватеев знал Пелагею Тихоновну, и одиннадцать лет мало изменили подругу Марфы Семеновны, выбранную два года тому назад председателем «Высокого берега». Поздоровавшись и присев на стул, она с первых же слов Саватеева поняла, о чем идет речь, и как только он замолчал, она быстро добавила:

— И Марфа Семеновна так думала... «К чему,— говорила она,— эту невидаль в Москву тащить?» Не то что ей своего добра стыдно было, нет, нарядно жила, но она бывала у вас, и вот перед концом говорила: «К чему это Гришеньке с Настей к шкафу шкаф, к кровати кровать?» И, по завещанию, что раздарила, что продать велела...

Что-то вспомнив, она вздохнула, опустила глаза и стала теревить бахрому платка. Потом неожиданно подошла к окну и, сев там, стала смотреть на улицу. И Кудрин, и Саватеев замолчали. Кудрин вытащил из кармана пачку «Беломора» и молча пододвинул ее гостю. Саватеев, кивнув головой, поднял на большой свой лоб очки и тоже вынул «Беломор». Они закурили, смотря в разные стороны. Потом Кудрин тихонько положил папиросу на пепельницу, встал, поправил кожаный ремень на гимнастерке и несмело подошел к Пелагее Тихоновне.

— Ну что же... Ну, не надо...— негромко сказал он, обнимая ее за плечи.— В больших годах была... Хорошую жизнь прожила. Ну, будет!.. Идемте-ка к столу!

И за столом немногословный Кудрин сообщил Саватееву, что Марфа Семеновна оставила ему все деньгами — двадцать три тысячи.

\* \* \*

На обратной дороге было мало народа в вагоне. Две станции Саватеев проехал один в купе, потом вошел коренастый, розовый с мороза полковник с чемо-



даном. Новый пассажир подсел к окну, хмурия белесые брови, минут пять смотрел в окно — там проносились снега да кусты, запорошенные снегом, затем перевел взгляд на попутчика.

Вагонная скука, как известно, начинается не через час и не через два, а сразу, как только человек занял место и понял: делать нечего. И есть лишь два спасения: книга или попутчик.

Вскоре Саватеев знал, что полковник возвращается из подмосковного санатория, а полковник — о том, что Саватеев едет из колхоза.

Через час Саватеев, вынув карандаши, чертил на полковничьем блокноте, показывая, как затачиваются резцы при скоростном резании. Полковник внимательно смотрел на чертеж, будто это ему могло пригодиться. Потом, вспомнив где-то прочитанное, спросил, не ездил ли Саватеев в Венгрию показывать свое мастерство. Нет, Саватеев не ездил, но с их завода туда отправлялись.

Григорий Иванович и говорил и чертил обстоятельно, но не очень охотно, задумываясь в паузах, с каким-то выжиданием поглядывая на собеседника. Он ждал мостика-перехода, чтобы высказать свои мысли, появившиеся недавно.

Но вот полковник сказал:

— Раньше такое изобретение человек про себя держал или продал бы за большие деньги. А вот мы — пожалуйста, показываем...

— Вот вы говорите «большие деньги»! — быстро подхватил Саватеев. — Они и в нашей жизни бывают. Вдруг свалятся... Ну, выиграл человек по займу, или премия какая, или, скажем, родственник после себя оставил.

— Это дело, конечно, хорошее, — полковник усмехнулся, — но я не о том, а о человеческой корысти, которая...

— Вы простите, товарищ полковник! — перебил Саватеев, не желая упускать свою мысль. — А я о больших деньгах. Ведь тут что интересно! — И он придвинулся ближе. — Что, говорю, интересно?.. Ну, вот, предположим, получили мы эти деньги... Ну, конечно,

обрадовались. Ну, можно купить и то и это... Можно даже какую-нибудь мечту выполнить. Например, вот я для дочки пианино... Или — там машину. Все это, конечно, дай бог... Но вот что, товарищ полковник, любопытно: что эти большие деньги в нашей жизни изменяют? В корне, так сказать, изменяют? Вот был, скажем, я одним, а стал вдруг другим!..

В вагон после остановки вошла большая и шумная группа лыжников. Замелькали по проходу голубые, красные, зеленые штаны, куртки с молниями. В купе к Саватееву и полковнику подсели четыре девушки в зеленых костюмах и, смеясь, продолжали говорить о чем-то, начатом еще до вагона. Полковник, прислушиваясь к их разговору, думал об услышанном от Саватеева. Вскоре он наклонился к нему.

— Да, в свое время большого идола мы повалили! — сказал полковник. — Не знаю, как вы, а я его дух застал... Вот, например, мальчишкой помню, как у нас в Туле один мелкий чиновник из Городской управы крупно выиграл по облигации... Тотчас бросил работу, положил деньги в банк и жил на проценты. Сшил себе шубу на толстой вате и целые дни, года, улыбаясь, гулял по улицам... Да как? Подняв голову, будто на облака смотрит. Идол помог ему достичь главной, самой главной мечты его жизни: ничего не делать. И что же! Сразу после этого стал заметной фигурой в городе! Почет, уважение!.. Появились новые приятели из купцов, из городского начальства. Его стали приглашать туда, сюда, записали в члены Коммерческого клуба... Прежних приятелей, ну эту канцелярскую мелюзгу, он уже не замечал... Еще бы — взгляд-то у него на облака!.. Ну, в общем, известная для того времени картина...

Одна из девушек, держа стоймя лыжу, стала спрашивать у своих подруг перочинный нож. Полковник достал свой ножик и, открыв лезвие, передал девушке.

Саватеев сидел откинувшись и смотрел на маленькие розовые пальцы девушки, ловко орудующие ножом и лыжным ремнем... У них на сквере перед заведением стоит на пьедестале гипсовая белая лыжница — покрупнее, постройнее только... Он вдруг увидел себя

в скверике, в какой-то незнакомой толстой шубе, бездельно похаживающим вокруг этой статуи — круг за кругом, день за днем, будто наказанный... И взгляд куда-то поверх Петра Анисимовича, поверх Любашина... Поверх-то поверх, но там наверху что-то никто не раскланивается, не приглашает... И получается, что один он на снегу — без уважения...

Саватеев неожиданно рассмеялся. Полковник, откинув шинель, прятал ножик в задний карман.

— Вы чего? — спросил он.

— Да так... представилось, — не сразу, продолжая улыбаться, отозвался Саватеев. — Хотел понять этого вот дядю на толстой вате. Хотел понять, а не получилось... То есть получилось, но самого себя сразу жалко стало. Значит, выходит, что не понял...

— И немудрено, — полковник вглядывался в окно. — Цену человека по другой мерке мы привыкли мерять... Ну, кажется, подъезжаем, — кивнул он на окно.

За окном появились темные пакгаузы, бетонные заборы, зеленые огни стрелочных фонарей — бледные еще, с каким-то чистым сиянием в тихих зимних сумерках.

---

## ПЕРВЫЙ ДОЖДЬ

**К**акое блаженство! Над садом первый летний дождь! Первый дождь над засеянными грядками, первый дождь над посаженными кустами и деревьями. Все это теперь будет подниматься, расти... На этой неделе многое было впервые. Плотники, смотав надоевшую колючую проволоку, служившую вместо ограды, наконец-то обнесли дачный участок первым настоящим забором, высоким, плотным, сделанным внакладку — и с волосок щелочки не просвечивает! Впервые появилась на участке толстая, крепко сбитая калитка, в которой, тоже впервые, чтоб не скрипели, смазали петли. И самое главное «впервые» — это врезной импортный замок на калитке. Да, маленький, но хитрый замочек, который все закрыл — и забор, и кусты, и грядки, и сам дом. Это не то что у отца в деревне было: немудреная щеколда с веревочкой...

Игнатий Тихонович переворачивается на постели и в теплой и темной тишине комнаты прислушивается к ночному дождю. Особенно слышен дождь со стороны веранды — там тонкая на одном накатнике крыша и много стекла. И он мысленно видит эту веранду: стеклянный, в нарядных полосатых занавесках куб обступил дождь. Лей, лей!.. Все там крепко, все промазано — только стекла от дождя чище будут...

Он чувствует себя как бы в центре происходящего. И хотя в соседней комнате спит жена, а внизу, в первом этаже дачи, — домработница, ему, бодрствующему в ночи, кажется, что он один... Так в сказке, не то во сне было: пустое здание, пустые комнаты, в центре которых — круглый, высокий и тоже пустой зал; в середине же пустого зала на столике — аквариум, и в нем единственное живое — золотая рыбка...

Доносится лай. Это у соседей, у Пузанковых... Да, с правым соседом не повезло — какой-то идолообразный субъект, построивший дачу на пивной пене. Противна его мужичья обстоятельность — забор у него врезан в землю, чтоб ни собаки, ни куры не подрывали, не пролезали под доски; какие-то пудовые засовы на воротах; хриплый цепной пес, а главное — ни кустика, ни деревца, ни цветочка! Весь участок занят прибыльными ранней картошкой и клубникой. Деньги и деньги — вот для него мерило...

Однако лай напомнил и другое — погибшую два года назад Джульку... Так же, как теперь, проснулся он среди ночи. Из низких окон времянки был виден под лунным светом первый, еще тогда не достроенный этаж дачи... Джулька брехала ровно, мерно, однако безотвязно — так собаки облаивают человека, молча стоящего перед ними. И в самом деле — Игнатий Тихонович вдруг почувствовал: вот тут, за дверью времянки, кто-то стоит. Да, кто-то стоит... Неведомая, неизвестная сила подняла робкого, хрупкого человека. Игнатий Тихонович рванул дверь на себя, и маленькая Джулька, увидав подмогу, залилась сильнее, визгливее. Да, стоял... Даже двое стояли: повыше и пониже.

Что-то, наверное, было решительное в выскочившем человеке. Может, непрощенных гостей испугал металлический блеск в его руках, и они бросились бежать, давя клубнику, салат, редиску. Размахивая суповой серебряной ложкой (впопыхах он схватил с кухонного столика ложку!), Игнатий Тихонович с Джулькой погнался за грабителями.

Впрочем, те бежали недолго: то ли увидали, что собачка не волкодав, то ли то, что хозяин не богатырь. А может быть, их успокоила ложка. Открыв, вернее,

толкнув вихляющую калитку — тогда тут висел просто фанерный лист на кожаных петлях, ночные гости пошли спокойным шагом. Но Джулька, дрожа от гнева и возмущения, приседая на передние лапы, все лаяла, все приставала... Тот, что был повыше, кудлатый, длиннорукый, не торопясь поднял из канавы кол и ударил им собаку... Сразу стало очень тихо, и только теперь почувствовалось, как много, как звонко, как старательно лаяла бедная Джулька...

Слава богу, что только собаку!.. И все же, сейчас вспоминая, надо сказать, что та страшная ночь была ничто в сравнении с тремя годами нудной, мучительной возни с кирпичом, с тесом, с железом, с гвоздями, с дурацким песком, который тоже не с неба падал...

Но все кончено, кончено! Все это в прошлом — и ложка, и Джулька, и мелкозернистый песок... Все сделано, все построено, все посажено и засеяно. Теперь время жатвы, время собирания плодов рук своих. Идет первый летний дождь, и завтра — все в цвету, в блеске. И все родное, своими руками — каждая травинка, колышек, гвоздь...

Кончено-то кончено, но воспоминаний не удержать, и они приносят всякое. Вот три года, пока строилась дача, было странное: человек поднимался на институтскую кафедру, сидел на ученых заседаниях, работал в лаборатории — читал, писал, говорил, делал, и никто не знал, что работал не он, а старые конспекты, старые мысли, старые навыки... Человеку было не до этого — все сильное, животворное, все душевное было тогда в цементе, в лесе, в столярке, в кровельном железе, в глупейшем горбыле для курятника. Все другое, вся жизнь — мимо...

...Вот в этом году еще! Из Ленинграда для специального доклада на кафедре приезжал Иван Константинович. Все собрались на знаменитость. Все, кроме... Да, в этот день на дачу должны были завезти оконное стекло и душ для ванны; надо было принять самому, жене бы подсунули битое и гнутое — потом разбирайся! А майские и октябрьские праздники! Все воскресенье! Опрометью сюда, на дачу. Вместо театра, книг, гостей — сюда... На студенческом выпускном вечере

нужно было сказать речь. Да, что-то лепетал, мямлил — мешали образцы гвоздей в кармане: те ли образцы выбрал?..

Откуда все это? Откуда была та сила, которая его, тихого научного работника («Дребезжащего на ветру», — как шутили коллеги), подняла против грабителей в ту ночь? Неужели от отца, от деда — от древнего мужицкого приобретательства?.. Но ведь этого он и не знал, только краем, семилетним мальчишкой захватил это время. Впрочем, и это теперь в прошлом — он больше будет бывать на кафедре, надо начать те опыты, что он все откладывал...

И Игнатий Тихонович начинает обдумывать это. Доносится мерный робкий звук, будто кто-то одним пальцем осторожно побарабанивает по окну. Игнатий Тихонович догадывается: это дождь стучит по газете, забытой на кресле в саду. Мысль его возвращается к саду и почему-то — к Джульке.. Нет, теперь никто не залает, если даже кто-то непрошенный и придет.

«Не попросить ли щеночка у тех, вокзальных?»

Близ вокзала, у желтой дачи, бегают на цепи сердитая, но забавная собака с обрубленным хвостом и втянутой мордой — не поймешь, где перед, где зад, как у троллейбуса...

Все же, почему это не спится? Игнатий Тихонович приподнимает голову и в темноте тянется к папиросам на столике. Сейчас, когда уши свободны от подушки, слышно, что дождь поредел и негромкое побарабанивание одним пальцем, что доносилось недавно, теперь ближе, слышнее.

«Это с деревьев на крышу веранды».

Зажигает спичку и вдруг видит: угол потолка темный, и в середине темного пятна, набухая, блестит толстая капля. Она блестит секунду и гулко падает на бумажный ламповый абажур. Следом другая...

«Ах, вот что! А я-то думал!..»

Босой, в одной короткой рубашке, он стоит под темным пятном на потолке. Теперь, при зажженном свете, блестят не только набегающие капли, но и штукатурка, напитавшаяся водой.

«Крыша!»

Ноги не попадают в брюки, пуговицы не застегиваются... Игнатий Тихонович видит в зеркале свое бледное лицо, тонкие белые руки, старающиеся что-то сделать, и чувство жалости к себе охватывает его. Но та сила влечет его — свое гибнет.

Через минуту он с фонарем на чердаке. Пахнет смолой от молодых, еще не потемневших стропил. Листы железа над головой еще не потускнели, не побурели и отливают то серой синевой, то радугой. Но несмотря на то, что все новое, необжитое, а воздух тут уже по-чердачному застойный, затхлый. Дождь опять пошел, и сотни мягких молоточков забубнили по крыше. Игнатию Тихоновичу представляется, что он держит над собой громадный железный зонт и дождь барабанит по нему...

«Но где же тут? Где же?»

Вот как раз на радужном листе железа и течет! Не то шов тут не заделан, не то из-за изгиба крыши вода здесь скапливается...

Игнатий Тихонович инстинктивно, как к ране на теле, прижимает к холодному железу ладонь. Но вода течет между пальцев, стекает в руках, вот уж и коленям холодно... Отнимает руку, опустив книзу фонарь, ищет, чем бы заткнуть. С черной, с еще не осевшей чердачной насыпки хватает какую-то щепку — и туда, к дырке. Но в том-то и дело, что дырки нет — вода набегают неизвестно откуда, может быть, со всего плохо заделанного шва... Не отпуская руку со щепкой, роется в кармане пижамы и достает носовой платок. Вот это лучше. Платок скатан жгутом и засунут щепкой в железный шов.

Но только на минуту лучше, пока платок сухой, не пропитался водой. Вот и он потемнел и потек... Игнатий Тихонович выдергивает его из щели и, хрустя жесткой шлаковой насыпкой, бежит к слуховому окну. Выжимает платок. Благоухание летней ночи, летнего дождя струится в полукруглое окно. Из темноты, из недалекого леса доносится даже запах ландышей. Может быть, это только кажется. Впрочем, не до ландышей — платок выжат, и прыжками по хрустящему шлаку снова — к тому месту. Жгут платка (теперь



уже проще, как бы привычней) засунут в шов железа, и проклятая вода перестает капать. Игнатий Тихонович, согнувшись, пятится и, как только достигает высокого места крыши, разгибается. Вытирает рукавом пижамы мокрый от пота лоб, опускает руки — отдыхает. Но глаза — на платок. Вот он набух, заблестел от воды и потек. Игнатий Тихонович, согнувшись, подбегает к нему, выдергивает — и к слуховому окну...

И вот в четвертый или в пятый раз вдруг все это словно светом осветило. Все это: три часа ночи, чердак, фонарь на полу, косая радужная изнанка крыши, жалкий мокрый платок, засунутый в железо, и, главное, усталый, взмокший человек с тревожными глазами... И кто-то, будто посторонний, спрашивает: «Зачем ты здесь?» Что он может ответить? Ну да, спасает свое добро, но почему из-за него вся жизнь — мимо...

И сразу тут же предстает какой-то давнишний прекрасный день — день из настоящей жизни («Боже мой, ведь была человеческая, достойная — именно настоящая жизнь!»). Он в лаборатории, только что окончен опыт, в воздухе стоит гул удачи. Лаборанты его поздравляют — сразу, по горячему следу. Завтра же — широко, высоко, просторно — среди студентов в аудитории. Но главное все же не гул, не поздравления, а то, что кругом свое, родное, близкое дело! Ведь и Пузанков — пивная пена — тоже его поздравлял. Поздравлял по-своему — с новым забором!

Игнатий Тихонович оглядывается: ночь, чердак, изнанка косой крыши, фонарь и с мокрого платка капля за каплей... Потушить бы фонарь, на цыпочках спуститься вниз и мимо могучих заборов, мимо цепных псов, мимо Пузанковых — домой бы, к своей, к настоящей жизни...

---

## ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА

1

**К**огда Локшиной показали повестку завтрашнего совещания, она поморщилась, взяла из никелированного бокальчика, стоящего на ее большом письменном столе, синий карандаш и обвела овалом первую строку: «Торф, его добыча и использование — профессор Параскевин». Подумав, она синей стрелкой отнесла этот пункт вниз, почти в конец повестки.

— Елизавета Анисимовна, это нехорошо! — сказал, поджимая полные губы, Авдеев, занимающийся в райсовете местной промышленностью. — Сами посудите: человек приезжает из Москвы, чтобы нам помочь с торфом, а мы его в конец совещания...

— Вот именно потому, что он приезжает из Москвы, — низким, размеренным голосом сказала Локшина, — потому, что первый раз и нас и наши дела видит... Вот именно поэтому надо дать Параскевину оглядеться на совещании, вникнуть, послушать «предыдущих ораторов».

— Вы же знаете, как долго у нас говорят! — Авдеев сокрушенно потер круглый подбородок, но, заметив спокойно-насмешливый взгляд Локшиной, вспомнил, что сам на последнем собрании сильно затянул

свою речь. И потому поспешил перевести разговор на другое: — А как, Елизавета Анисимовна, со встречей Параскевина?

— Никак. Приедет — и все!..

За последние дни она слышала от разных работников райсовета этот вопрос. И хотя спрашивающие, может быть, не придавали этому особого значения, ей каждый раз слышалось в вопросе что-то ненужное, не свое, взятое из далеких времен чинопочитания и угодничества. Почему человек из Москвы должен быть как-то особенно встречаем и провожаем? Вот и Авдеев тоже!.. И даже больше — озабоченность в голосе, будто бог весть какое важное дело.

— А вы, Арсений Васильевич, что же предложили бы? — спросила она, помечая пункты в «текущих делах» повестки. — Дорожки песком посыпать? Или, как у Гоголя, колпаки больным переменить?

Авдеев улыбнулся не от шутки, а от легкости на душе: раз Локшина так говорит о встрече, значит, она это взяла на себя и ему нечего беспокоиться, если гостя не так примут. Но он сохранил озабоченный вид.

— Да, но все же, — сказал он, забирая повестку и направляясь к двери, — что-то надо!.. Просто из гостеприимства.

Это «просто из гостеприимства» уже было сделано Локшиной: отведен чистый удобный номер в гостинице; на вокзал к поезду послан с машиной Гриша — помощник коменданта райсовета; этот же Гриша должен был посмотреть, чтоб в номер не забыли поставить письменный стол с бумагой и чернилами, а по утрам эти два-три дня, что будет тут Параскевин, приносить ему местную и областную газету.

Локшина подошла к окну. Перед подъездом стояла темно-зеленая «Победа», и в открытой дверце шоферской кабины были видны на диванчике каблучки туфель. Катя или спала, или дремала, ожидая вызова.

«А я ничего. И спала не больше ее! — с удовольствием подумала Локшина, вспоминая вчерашнюю долгую поездку на торфоразработки. — Впрочем, я на обратной дороге, кажется, дремала, а Катенька... Но

ведь есть еще «впрочем»: мне пятьдесят пять лет, а ей девятнадцать!..»

Из окна по диагонали был виден новый, недавно устроенный сквер с белыми скамейками. Тонкие деревца и робкий кустарник привыкали к земле, к людям, к солнцу. Они дрожали от каждого порыва ветра, и за них было страшно, как за ребенка, играющего на мостовой. И хотя они были дороги ей, она смотрела на них с тоской и досадой. Ведь надо было бы сажать большие, почти взрослые деревья, а не эти прутики, которых придется ждать десять — пятнадцать лет!..

Неожиданно к своим пятидесяти пяти она прибавила пятнадцать. «Так я уже совсем старуха буду!» — подумала она и перебрала в памяти райсоветскую молодежь: шофера Катю, комендантского помощника Гришу, Зою, Алексея, прибавляя к их годам пятнадцать. Те же пятнадцать она прибавила и к годам сына, хотя Павел и не жил теперь в этом городе. И тоже получалось неладно: долго ждать... А все Сергей Сергеевич: уговорил, что в таком виде деревца лучше примутся, дешевле доставка, да и все замечательные сады и парки в России с таких прутиков начинались. Но мало ли что! Зачем назад оглядываться...

Тяжело ступая, она прошла к столу, искоса взглянув на часы: через десять минут начнется прием посетителей, а еще надо вернуть в финансовый отдел смету и объяснить исправления в ней. Под бумагами она нашла кнопку и позвонила. Садясь в кресло, почувствовала в ногах какую-то мягкость. «Нет, все же не выпалась!» — подумала она и позавидовала Кате, прикорнувшей сейчас на дерматиновом диванчике машины.

## 2

Прием посетителей был до четырех часов, но обычно затягивался — Локшиной неудобно было не принять человека, если он приехал в район нарочно для этого.

Отпустив последних — двух девушек из Великатова: звеньевую и учительницу, которые пришли хлопотать о вечерней школе для сельской молодежи, Ели-

завета Анисимовна собиралась ехать обедать, начала уже складывать бумаги, запирасть ящики стола, как в комнату вошел высокий, худощавый человек в белых брюках и с толстой тростью в руках. Медленно подойдя к столу, он усталыми, но внимательными глазами посмотрел на Локшину и сказал:

— Параскевин. Будем знакомы...

Она на мгновение смутилась: «Почему он здесь? Что случилось? Встретил ли его Гриша?.. Андрей... Андрей, а как отчество?» Но тотчас улыбнулась, показала на кресло, и, пока Параскевин усаживался, она не спеша выдвинула верхний ящик стола, где (сейчас вот складывала) сверху лежал листок с извещением о приезде профессора Параскевина, и заглянула в него.

— Как доехали, Андрей Савельевич? Встретили ли вас на вокзале? — спокойным низким голосом спросила она, озабоченная сейчас, когда он сел к свету, не его неожиданным приходом, а тем, что она этого человека когда-то видела.

— Спасибо! Все в порядке! Встретили. Проводили в гостиницу,— резко, отрывисто сказал Параскевин.— Но мне хотелось бы перед завтрашним совещанием получить материалы. По торфу. Не вообще по торфу,— он чуть улыбнулся тонкими губами,— это мне известно. А по вашему торфу. Мне хотелось бы говорить применительно к местным условиям. К местному торфу. Что он? Где он? И как? То есть как добываете? Гидравлика, фрезер или у вас только элеваторный способ?

Нет, отрывистый тон слов был незнаком, но вот голос, лицо, движения рук... Она вспоминала и не могла ни вспомнить, ни перестать вспоминать. Это мешало слушать, думать. Однако не настолько, ибо привычка заниматься сразу многими делами помогла ей.

— Все эти материалы готовы для вас, Андрей Савельевич,— сказала она, не переставая вспоминать,— но мы думали, что вы устанете с дороги, и решили вас познакомить с ними завтра с утра... Совещание ведь вечером... Но если вы желаете...

И она, встав из-за стола, проводила Параскевина в комнату Авдеева. Идя с ним по коридору, она взглянула на профессора сбоку. Профиль его на фоне окон был четок и даже молод. В сером роящемся тумане что-то замерцало. Нет, не вспомнилось, а только проглянуло время: далекое время, когда она была молодой...

Вернувшись к себе в кабинет, она застала там коренастого Поджаркова — директора ремонтной станции. Только заведя ее, Поджарков, быстро двигая короткими руками, бурно заговорил о том, что договоры с колхозами должны выполняться не формально, а с душой; что не могут быть хорошие, отличившиеся станции среди отстающих колхозов; что надо помогать колхозам и так далее...

Локшина, занятая своими мыслями, не сразу догадалась, к чему он это говорит, но, заметив у себя на столе два незнакомых листа бумаги — больших, исписанных карандашом — и застенчивую, просящую улыбку на лице Поджаркова, она поняла, что он опять написал в областную газету статью и по-приятельски просит посмотреть ее, выправить...

Она начала было читать статью, но держалось неотвязное: «Где, когда я его видела?» Она положила статью в портфель и сказала, что прочтет ее дома.

И дома, за обедом с сестрой, она мысленно перебрала свои школьные годы — нет, не было там такого.

— Может, какой-нибудь давнишний Павлушин товарищ? — подсказывает сестра.

Нет, не то — товарищ сына был бы намного моложе ее. А этот, наверно, ровесник. Тогда сестра вспомнила двух Андреев из своих школьных лет. А потом — и не Андреев, общих приятелей детства. Она называла их имена, улыбаясь, даже подсмеиваясь, но было видно, что ей приятно вспомнить их.

— Помнишь, Виктор уговорил нас, дурочек, стоять у решетки катка и смотреть на его фигурное катание. Скуп мальчик был! Уж купил бы нам билеты на каток, тогда бы мы и посмотрели. А у этой решетки, помню, мы замерзли, как ледышки! На мне нитяные чулки были...

И Локшина вдруг вспомнила... Конечно, никакой не Виктор, не каток, а зима. Другая зима, тоже далекая, но трудная, страшная. И Параскевин в этой зиме...

Она позвонила в райсовет, сказала, что будет позже, чем собиралась, и, вызвав Катю, поехала в гостиницу. Сидя в машине, она с улыбкой подумала о том, что еще утром она останавливала Авдеева от излишней суеты, связанной с приездом московского гостя, а сейчас вот сама едет к нему. Это, конечно, не то, о чем они говорили, но все-таки...

### 3

Они сидели за столом и перебирали уже мелочи, подробности той далекой зимы. Главное — место и время — было уже обоим открыто, установлено.

...В тысяча девятьсот девятнадцатом году группа тогда еще петроградских комсомольцев была направлена на балтийскую ветку, на полустанок Ново-Лисино, где проходил юденический фронт. Это были не бойцы, не красноармейцы, не воинская часть, а просто помощники фронту.

Война шла главным образом на рельсах. С той и с другой стороны курсировали бронепоезда, обстреливающие тощие и редкие окопы с пехотой. Окопы на нашей стороне были вырыты в топкой почве, где, несмотря на мороз, хлюпала вода, стлался тяжелый, сырой дымок. Прихрамывая, бойцы приходили с отмороженными ногами в санитарный околоток, расположенный на полустанке Ново-Лисино.

Лиза Локшина и приехавшие с ней комсомолки помогали сестрам милосердия — питерским ткачихам — снимать с красноармейцев сапоги или тяжелые, на гвоздях, ботинки и смазывать, бинтовать обмороженные ноги. Бойцы стонали не от боли, а оттого, что ни боли, ни прикосновения рук сестер они не чувствовали. Ворча и чертыхаясь, помогал ткачихам и высокий, голенастый Параскевин. Эти мази и бинты — бабье дело, и что в них толку! С морозом, с болотом надо не так бороться!..

Он пробрался в вагон к начальнику боевого участка с исписанным листком бумаги, где по минутам было расчерчено движение бойцов от окопов до комнаты-теплушки, которая специально будет оборудована на полустанке. За полчаса пребывания в «теплушке» обувь и портянки у бойцов будут высушены, а сами они отогреты, напоены горячим чаем.

Начальник, посмотрев на вихрастого парня, было усмехнулся: «А воевать-то, мил человек, кто же будет?» Но Параскевин, водя пальцем по своей неразборчивой схеме, объяснил, что девять десятых будут всегда на месте и только одна десятая в «теплушке». А такой зарядки — чай, тепло, сухая обувь — надолго хватит.

Разрешение было получено, «теплушка» на полустанке открыта, и не было теперь никого, кто бы не знал Параскевина, которого почему-то стали звать «комендантом». Работы в околотке сразу уменьшилось, и Лиза вместе с подружками перешла работать в Параскевину: сушили обувь, разносили чай, подбрасывали полешки в железную, с розовой от накала трубой печь.

Потом Параскевина где-то около полустанка подбил снаряд, прилетевший с юденического бронепоезда. Раненого «коменданта» увезла в тыл санитарная летучка, и больше его не видели. Лиза приняла «теплушку», и ее тоже стали звать «комендантшей», но худого, голенастого парня, наладившего это дело, все вспоминали...

\* \* \*

— Если перевести это на наш теперешний язык,— улыбаясь и медленно (все еще шла перед глазами далекая зима) проговорила Локшина,— то вы тогда, Андрей Савельевич, были, так скабать, новатор!..

— Ну, это каждый придумал бы...

Он поднялся из-за стола и заходил по зеленой ковровой дорожке, наискось проложенной по номеру гостиной. Сейчас он говорил не так отрывисто, как днем в кабинете, и без толстой трости он казался Локшиной более своим, домашним.



— Но знаете, что интересно! — сказал он, смахивая с белых брюк папиросный пепел. — Каждое поколение застает что-нибудь уходящее. Отец мой застал телесные наказания в волостных правлениях, в школах, в гимназиях; мы с вами застали конки в городах и, например, оловянные ложки, которые теперь везде вытеснил алюминий... Помните, какие легкие, но серые, некрасивые ложки были?

— Помню... А из алюминия вначале делали не ложки, а ручки для перьев. Очень красивые ручки в виде гусиного пера...

— Да, да... Но наше поколение кроме оловянных ложек и конок, — Параскевин, блестя глазами, остановился на зеленой дорожке, — застало самое большое, самое главное из уходящего — старый мир... И самое неповторимое — начало нового. Нового пути...

И они теперь стали вспоминать о том, как они шли по этому пути. В середине разговора Локшина подумала и о другом: сегодня утром она, смотря на тонкие деревца-подростки, прибавляла года ожидания, а сейчас вот в их с Параскевиным жизни вернулась назад, туда, где от холодного полустанка петроградские подростки тронулись в дальнюю дорогу.

## ПОМОЩНИК РЕЖИССЕРА

1

**К**иносъемка была назначена в девять тридцать. Шел уже десятый час, а помощнику режиссера Елене Васильевне еще не дали роту солдат.

— Вторую я не возьму! — повторяла она. — Мне надо первую роту!..

Она стояла перед майором, опустив обнаженные руки вдоль коричневого платья, сшитого из грубого полотна. На груди и на спине платье было глубоко вырезано. Кожа неровно опалена солнцем — то темная, то розовая.

— Я уже докладывал вам, — учтиво, но с раздражением отзывался майор, — что первая рота отправляется на стрельбище!..

В фанерном домике было душно. За зеленым пузырчатым стеклом окна крутилась пыль. Елена Васильевна вспомнила, что ей еще шагать по этой пыли — по солнцу, без воды...

— Есть ведь распоряжение командира полка! — И она шагнула к телефонному аппарату: сейчас вот будет звонить в полк.

— Совершенно справедливо! Есть! Но там сказано: моему батальону выделить роту для ваших киносъемок. Но не указано, что каждый раз одну и ту же!..

Елена Васильевна не могла понять, почему майор притворяется непонимающим. Она сделала вид, что не заметила этого.

— Но вчера же мы снимали первую роту,— настоятельно-дружески заговорила она.— Не можем же мы каждый раз снимать новых людей?! Не правда ли? Ведь они уже в кадр попали! В крупный план!

Майор знал, что такое «кадр» и «крупный план». И он понимал, что этой женщине действительно нужна не какая-нибудь, а первая рота. Но, зная это, он все же забыл вчера отдать распоряжение о том, чтобы сегодняшнее стрельбище для первой роты отнести на после полудня. Правда, и теперь было не поздно переменить время, но эта женщина раздражала его своим властным, придирчивым тоном. Было так, словно у майора появился новый начальник. Все же надо было уступить, ибо у женщины имелось распоряжение не только командира полка, но и командующего округом. Однако уступить немного, чтобы не выдать, что он вчера забыл про сегодняшнюю киносъемку.

— Ну хорошо! Для крупного плана я вам дам семь-восемь бойцов из первой роты.

— Это меня не устраивает! Первая рота у нас уже вся срепетирована! — Елена Васильевна отвернулась и посмотрела на телефон.

Майору не нравился карман на ее грубом рабочем платье. Большой квадратный карман на груди. «Зачем ей такой мешок?» От этого кармана женщина казалась чересчур деловой, суровой... Однако подпускать к телефону ее не нужно.

Елена Васильевна хмуро взглянула на часы.

— Сейчас уже девять двадцать! Мы с вами, товарищ майор, задерживаем и режиссера, и актеров, и всю съемочную группу! — Она взялась за телефон.— Как соединиться с полком?

## 2

Дорога проходила по бывшему руслу реки. Справа и слева лежали овальные меловые берега. Меловая пыль на дороге была по щиколотку. Рота, вытянувшись, шагала по обочине, но и тут сквозь низкую выгоревшую траву проступал мел.

Елена Васильевна шла впереди, вместе с командиром роты. Она старалась идти в ногу с ним и, как он,

размеренно и спокойно. Все было чудесно! Она все же получила первую роту и не опаздывает: сейчас только проехал грузовик с актерами, а им еще надо гримироваться! Приятно было сознавать и то, что она встает рано, вероятно в одно время с лагерными военными, и вот ведет их под солнцем по пыльной, трудной дороге, не требуя к себе снисхождения... А ведь она истая горожанка, у которой там, в Москве, на Малой Бронной, осталась ее надушенная комнатка — с трельяжем, с подушечками, с фарфором.

Проехавшие актеры звали ее в грузовик, но она отказалась — нет, она идет, как все, даже как командир — впереди. Меловые берега древней реки дики и сказочны — вот какой-то выступ в виде собачьей морды, вот вдруг кривое дерево, уцепившееся корнями за голый мел. Она смотрит на роту: пылят! И вспоминает:

Там о заре прихлынут волны  
На брег песчаный и пустой,  
И тридцать витязей прекрасных  
Чредой из вод выходят ясных,  
И с ними дядька их морской...

Она молча улыбается — да, она их дядька! Она приказала шоферу грузовика, чтобы он, отвезя актеров, вернулся бы сюда, к роте, с бидоном воды... А когда придут на место съемки, она их уложит в тень и даст отдохнуть... «И с ними дядька их морской...»

Елена Васильевна нагибается, срывает с обочины какую-то голубую травку. От этого движения щелкает резинка на левой ноге, и чулок начинает опадать. И поправить негде. Она представляет себя со стороны солдат: чулок на левой ноге, наверно, спустился дряблым чехлом... «Э-э, как нехорошо!»

— Елена Васильевна, не хотите ли воды?

Командир роты предлагает ей свою открытую флягу. Этот добряк Векшин не замечает еще ничего. Нет, ей сейчас не до воды: как бы, где бы поправить чулок? Она думает о чулке, но боится взглянуть на него, чтобы не привлечь внимания первых рядов роты...

Впереди показывается грузовик с водой, и Елена Васильевна понимает, что спасена. Только бы до грузовика ничего не произошло. Ну что он тащится!

Машина подъезжает, и пока все заняты водой, она заходит за машину и поправляет чулок.

После ключевой воды идти легче, прохладнее. Но через сотню шагов будто и не пили — так же жарко.

Дубовая роща встречает свежим ветром. Еще несколько шагов — и тень! От столетних дубов тень широка, как от облака. Елена Васильевна оставляет роту под дубами и не торопясь идет к съемочной группе. Остановившись за три шага от режиссера — своего мужа, вытянув руки вдоль платья, она докладывает притворно-официальным голосом:

— Первая рота прибыла в полном составе!

— Ставь их на дорогу! — говорит режиссер, поднимаясь с травы. Он черен, волосат, на нем одни длинные, лыжного покроя, голубые штаны.

— Я дала им пятнадцать минут отдыха.

— Какой отдых, Лена! Солнце уйдет! Ставь!..

И уже с травы поднимаются оператор, актеры. Рабочие проносят матовые зеркала.

— Я не могу отменять свое решение!

— Лена, не дури! Ставь!..

Режиссер листает сценарий. Он дает время своему помрежу одуматься. Елена Васильевна, отвернувшись, пьет из бидона воду. От света проносимых зеркал бок бидона серебрится, и капельки воды на губах женщины светятся.

Подходит оператор с синими очками на лбу. Он толст, рыхл — ему трудно стоять на ногах.

— Опять дискуссия между мужем и женой! — Оператор разваливается на прохладной траве. — По родственной линии в кинематографию надо принимать не ближе бабушки! Свояченица — это уже много! Жена же — это просто бунт на корабле!

Но все знают — как Елена Васильевна сказала, так и будет: пятнадцать минут — значит пятнадцать минут! Режиссер углубляется в сценарий. Синий карандаш ставит в сценарии какие-то «галочки» и кружочки у кадров. Режиссера торопят; он отнекивается: он занят. Получается так, что не жена, а он, режиссер и руководитель, задерживает съемку. А это нормально.

Елена Васильевна обходит актеров:

— Михаил Леонидович, какой у вас противогаз?

Высокий актер, одетый в форму неприятельского офицера, кокетливо скашивает глаза на квадратную серую сумку у левого бедра.

— А какой, Елена Васильевна? — спрашивает он балованным, театральным голосом.

— У вас солдатский, а надо офицерский противогаз!

— Такой дали!

— Кто дал?

— Ну, кто! Сема, конечно, дал!

Елена Васильевна оглядывается. Сема в стороне возится у грузовика.

— Сема-а! — кричит она.

У Семы необычайный слух или чутье какое-то: он уже бежит от грузовика с офицерским противогазом.

Актер, играющий бургомистра, одиноко лежит под деревом. У него хмурое, злое лицо. Ему сниматься часа через два, а его привезли сюда сейчас, так как позже машина будет занята. Кроме того, ему хочется в Ленинград — надоели обеды на лужайках, на брезенте, надоела жара, помидоры...

— Елена Васильевна, слышали, что ваш муженек, Алексей Алексеевич, выкинул? — Он пододвигается на траве, как бы приглашая помрежа присесть рядом. — Оставляет меня еще на два дня!.. У меня же в театре сезон пятого начинается! Вы же вот лично обещали, что пятого я буду в Ленинграде!

Если бы не слово «выкинул», Елена Васильевна, может быть, присела и объяснила бы попросту. Но теперь стоит — строгая, обличающая.

— Во-первых,— начинает она,— сезон у вас открывается не пятого, а девятого! Это вы лучше меня знаете! Во-вторых, я не обещала вам, а сказала, что если удастся, то отпустим вас раньше договорного срока... А в-третьих, упомянутый вами Алексей Алексеевич ничего не вы-ки-ды-ва-ет!.. Если он вас задерживает, значит, надо задерживать! Он режиссер, он за все отвечает!..

Пятнадцать минут уже истекают. Елена Васильев-

на отправляется к роте. Она проходит мимо мужа. Он все еще будто занят сценарием, но перед ним лежат часы. Алексей Алексеевич поднимает глаза на жену, и в них мольба: «Лена, ради бога, не придумай еще чего-нибудь».

Она подходит к командиру роты, и тот встает с травы, одергивает гимнастерку, чуть вытягивается.

— Пожалуйста, поднимите роту! — говорит ему Елена Васильевна.

— Слушаю! — отвечает Векшин и, четко повернувшись на каблуках, зычно кричит: — Ста-но-вись!

### 3

Со съемки Алексей Алексеевич уезжает последним — ему еще надо наметить съемочные кадры на завтрашний день, предупредить актеров, костюмера, дать заявку в полк...

На меловых горах, чистое и оранжевое, лежит закатное солнце, на дороге пыль — голубая, присмирившая... Машина останавливается у сельской почты, — пахнет сургучом и фиолетовыми чернилами. Писем с кинофабрики, конечно, нет. Есть телеграмма оператору. Алексей Алексеевич вскрывает ее — они все ждут этой телеграммы. Ну, слава богу! Первая партия их пленки проявлена, и результат хороший!

Потом режиссер пьет в киоске холодное пиво. И каждый раз умиляется: тихое украинское село, а пиво постоянно со льда! Не то, что в Ленинграде!

Затем он заходит в белую халупу к автору сценария. Сегодня на съемке выяснилось, что командира Лисицына в одном месте величают «майором», в другом — «капитаном»... Это пустяки, легко исправить, но вот во второй части фильма бургомистр получает письмо, а в четвертой части у зрителя создается впечатление, что письма не было...

Автор говорит — он подумает об этом. Но Алексей Алексеевич замечает, что думать некогда: завтра снимать. И они думают вместе. Режиссер пододвигается к автору, и они вместе склоняются над сценарием, как дети, читающие одну и ту же книгу.

В открытое низкое окно доносится музыка: в бывшем монастырском саду, когда-то описанном Чеховым в одном из рассказов, теперь парк культуры и отдыха. Сейчас там по дорожкам, посыпанным гравием,— по хрустящим прохладным дорожкам — расхаживает помощник оператора в песочных бриджах. Он курит трубку и презрительно косится на местных девушек. Но ходит туда только из-за них.

— Вот, смотрите,— говорит автор.— Кадр сто сорок седьмой... Я пишу так: «Крупно. Письмо на траве». Зрителю теперь будет ясно, что письмо потеряно!

— А кадр сто пятьдесят девятый?

И они опять склоняются над сценарием.

Режиссер возвращается домой уже в темноте. Над монастырем стоит луна — по-провинциальному большая, важная. Окна домика освещены, и в открытом окне недвижна занавеска. Лена сейчас, вероятно, лежит и читает... Но уже из передней Алексей Алексеевич слышит всхлипывания. Он вбегает в комнату. Лена сидит за столом и плачет.

— Леночка, что ты? — Он целует ее в красные мокрые глаза.

И сквозь всхлипывания:

— Оно стучает!.. Все погибло!.. — И Елена Васильевна плечом показывает ему куда-то.

— Кто «стучает»?

И только теперь он видит на столе таз с вареньем и отдельно, на тарелке, плотный и вязкий на вид, какой-то темный комок.

— Ты подними его! — плача, говорит она.

Он берет чайную ложку и с трудом — так что гнется ложка — отдирает ком от тарелки. Варенье грузно, твердо падает обратно.

— Слышишь, стучит! Переварила!

— Ну что за глупости! Стоит из-за этого расстраиваться!

— Теперь только выбросить! Я так старалась!.. Это ведь настоящая вишня-шпанка!.. Как я такое привезу в Ленинград?! Анфиса Петровна засмеет!..

И, не отводя взгляда от ненавистного красно-черного варева, она ищет вокруг себя носовой платок.



— Подумаешь! Анфиса Петровна! — Муж ножом отрезает кусочек переваренного варенья и кладет в рот. — Даже лучше!..

— Что лучше?

— Лучше, что такое твердое.

— Не успокаивай! Это глупо!

— Совсем нет! Моя мать постоянно варила такое варенье! Это называлась смоква... Его выкладывали на железный лист и резали ножом на квадратики...

— Ты думаешь?

— Конечно! Что может быть лучше смоквы!

Елена Васильевна, не двигаясь, сидит с мокрым лицом. Медленно просыхают глаза. Но лицо, вероятно, красное, подурневшее. Она идет к зеркалу. Платок мокр — им не утереть лица. Она снимает со спинки кровати полотенце. И из-за полотенца — улыбка.

— Я так и скажу Анфисе Петровне, что я просто нарочно варила смокву! Нарочно варила — вот и сварила! Я ей даже рецепт дам!..

— Рецепт очень простой, — отзывается муж, — поставить ягоды на огонь и забыть про них!

— Это ты мне хочешь отплатить за сегодняшние пятнадцать минут?!

— Да, Лена, я хотел бы с тобой поговорить...

— Что говорить? Я была права!..

Она ложится спать первой — ей завтра чуть свет опять быть в лагерях, опять брать и вести на съемку свою первую роту... Она лежит на широкой, двухспальной постели маленьким комочком, но так, что больше уж никому сюда не лечь. Алексей Алексеевич подходит к ней и целует ее в полураскрытые губы. Она вздрагивает, улыбается во сне и, пошевелившись под одеялом и еще уменьшась в размерах (подведя колени чуть не до подбородка), занимает середину постели. Теперь уж совсем мужу спать негде...

Осторожно подведя ладони под ее тело, он передвигает Леночку — этот теплый узел из рук и ног — на край постели.

---

## УСТАЛЫЙ ДЕНЬ

**И**

нженер Реутов ехал с завода домой на Самотечную площадь.

В трамвае ему все не нравилось. Около кондукторши сидела какая-то девица с завитой и, как показалось Реутову, мокрой челкой. Хихикая и приговаривая: «Ох, умереть можно!», она что-то оживленно рассказывала кондукторше-подружке. Это мешало той работать: вместо «площади Ногина» кондукторша объявила «Ильинка».

Рядом с Реутовым стояла женщина с большим свертком. Она вздыхала, перекладывала свой груз из руки в руку и на поворотах трамвая боком притискивалась к Реутову. «Нет-нет, матушка, не старайся! — зло думал он. — Места не уступлю. Я сам устал!»

Чтобы не замечать женщину, он отвернулся к окну. Но стекло было в толстом, пушистом, как фуфайка, инее, и только внизу, у рамы, была протерта голубая дырочка. «Черт знает! Какие-то карлики ездят!» И высокому инженеру пришлось согнуться, чтоб заглянуть в этот кружок стекла, освобожденного от инея...

Тут он спохватился: где билет? Нашел его в кармане шубы. Вынул кошелек, положил билет в кошелек. Женщина со свертком прошла вперед и где-то там села. Реутов расположился поудобнее, посвободнее —

теперь он ни перед кем не ответчик. А действительно ли билет в кошельке? Может быть, пока клал, дыханием сдул его? «А-а, чепуха! Ну, заплачу три рубля, как безбилетный!» Девушка с мокрой челкой все противно хихикала около кондукторши. «Нет, не буду смотреть. Не буду! Пусть билета нет!» Но рука — не управляемая, назойливая — полезла за кошельком, открыла его. И теперь раздражало, что билет тут, — уж лучше бы его не было!

И Реутов вспомнил доктора, который лечил его от неврастения: «Начинается, душенька моя, с того, что вы, закрыв дверь на замок, вдруг спохватываетесь: «А действительно ли я ее закрыл?» Возвращаетесь с улицы обратно!» И сейчас злило, что все совпадает. За спиной кто-то оживленно рассказывал:

— На «Золотой гребешок» я достала билет во второй ярус. И то, знаете, с трудом. Но чудно было, чудно! Вы, Андрей Петрович, были на «Золотом гребешке?»

Реутов полуобернулся и сказал громко, резко:

— Он не мог быть на этом спектакле, ибо такого спектакля — «Золотой гребешок» — не существует! Есть «Золотой петушок».

Девушка с мокрой челкой тотчас остановила свои хихиканья, округлив глаза, посматривала туда-сюда, ждала скандала. Но только где-то в середине вагона вспыхнул смехок, и этим все кончилось. В трамвай вошли новые пассажиры. Девушка вернулась к своим «ох, умереть можно!»

«А-а! Нехорошо как! Нехорошо! — мучился Реутов. — И зачем это я влез в разговор?» Он вспомнил своего доктора, неврастению и стал успокаивать себя: «Это все от этого...»

\* \* \*

Он сходит с трамвая и бредет по бульвару. Сквозь зимние голые сучья деревьев проступает круглое здание цирка. Он слез, оказывается, на одну остановку раньше. Но рад этому: и билет, и этот выкрик уехали вместе с трамваем... Реутов выдергивает из кошелька билет и бросает его. Бросает, как паука.

Он сидит дома на кровати, расшнуровав ботинки и спустив одну штанину. На стуле пижама, на полу домашние меховые туфли, на столе, под газетой, обеденный прибор — надо переодеться и начать обедать. Но Реутов сидит. На подушке замечает записку от домашней работницы, написанную красным карандашом.

«Пошла в школу. Суп на плите под синей крышкой. Голубцы и блинчики в духовом шкафу».

Он ищет ошибок, ему хочется их найти, но не находит. Но вот почерк какой-то кривой, завалившийся, будто деревенский плетень.

«Плохо учат!» — с удовлетворением думает Реутов. И опять сидит — полуодетый, недвижимый.

«Хорошо бы в лес куда, в тишь!» И возникает виденное где-то в галерее: по бледно-зеленой безмолвной реке скользит темный челн с двумя рыбаками. Тоненькие, как девочки, северные березки стоят на берегу. Их бледная робкая листва тянется к розовому тихому закату.

Сверху, со славянского шкафа, раздается балованный обольщающий голос:

«Кол-лектив магазина ну-умер девять Мосспецплодоовощторга за лучшие производственные показатели...»

Реутов, подхватив штанину, бежит к розетке радио и выдергивает штепсель. Голос все же успевает выкрикнуть:

«...получил переходящее зна...»

Сидит на кровати, повторяя вслух:

— Мосспецплодоовощторг! Мос-спец-плодо-овощторг...

Из пиджака выхватывает карандаш, на обороте записки домашней работницы, прокалывая бумагу на одеяле, пишет это длинное слово. Подсчитывает количество букв — ужасно, двадцать букв!

Звонит телефон. Сбросив наконец и вторую штанину, Реутов в кальсонах нехотя подходит к аппарату.

— Слышали по радио? — спрашивает Миша из лаборатории.

— Слышал... Я думаю, что в Москве есть какой-то специальный негодяй, который придумывает эти вы-

вески и слова в двадцать букв! Удивляюсь, почему его до сих пор не поймали!

— Вы о чем? — изумляется где-то там, на Варшавском шоссе, Миша-лаборант.

— А ты о чем?

— Да как же, Алексей Федорович! Сейчас по радио передавали, что инженер Реутов из нашей заводской лаборатории за лучшие показатели премирован и выдвинут... ну, помните, три дня назад на собрании!.. А теперь только вслух по всей стране!..

— Э-э! Делать им нечего! — Реутов морщится.

— Бегу к студии, Алексей Федорович.

— Ну, беги!

Он переодевается в пижаму перед зеркалом шкафа. Ему сорок лет — у него седые виски и усталые глаза. Он проводит рукой ото лба к носу и идет в кухню разогреть обед. Голубцы обмотаны черной ниткой, чтобы при жарении капуста на них не разъехалась. Это его смешит: жареные нитки!

Из комнаты — телефонный звонок.

— Да, это я, Надежда Сергеевна! — Реутов прислушивается, как в кухне начинают шипеть голубцы на сковородке.

— Насколько мне память не изменяет, — не спеша начинает голос, — и если вы тоже доверяете своей памяти, конечно, только в том случае, если с вашей стороны нет желания нарочно забыть, о чем я, к сожалению, иногда могу думать...

— Короче! Короче! — пришептывает Реутов.

— ...то вы должны вспомнить, что сегодня как раз тот день, когда у вас есть возможность доказать, что вы иногда, при желании, можете быть...

И, странное дело: из всего этого Реутов вдруг понимает, к чему клонится речь. Он перебивает:

— Увы, Надежда Сергеевна! Никак на концерт я сегодня не попаду. Уж вы простите!..

Она упрекает его, но не очень, — она знает, что он не любит скрипку. И Реутов рад, что все так легко сошло, что разговор окончен и сейчас — обедать. Но она вспоминает прошлую их встречу у Полторацких. И она недовольна ею. Реутов наконец догадывается,

что весь этот разговор начат именно из-за того вечера у Полторацких, а концерт — просто предлог позвонить... Сейчас ему будут подробно повествовать, как он тогда вошел в комнату, куда посмотрел, что сказал...

Реутов дожидается первых журчащих фраз, тихо кладет трубку на стол и на цыпочках бежит в кухню. Черные нитки на голубцах опять смешат его. Он вспоминает, как это было: Миша позвонил по телефону, а потом уж эти жареные нитки! И он понимает теперь, что не голубцы смешны, а то, что ему приятно Мишино сообщение...

Он бегом возвращается в комнату, бесшумно, на цыпочках подходит к столу и тихо берет трубку. Голос журчит размеренно, упоенно. И Реутов, не вслушиваясь, не понимая, бросает, как камешек в ручей:

— Вы так думаете?

Это он говорит наугад и наугад придает своему голосу обиженный оттенок — он ведь знает, что его упрекают. И получается как нельзя кстати.

— ...Почему же я должна думать иначе? — Ручей уже захватил камешек и катит его в своих водах. — Вы вспомните! Когда вы повернулись, чтобы завести патефон, я стояла рядом, у книжного шкафа, и у вас была полная возможность сказать мне, если бы вы имели к тому желание...

Реутов слушает и думает: «А слыжала ли она, как меня расхваливали по радио?» И когда ему надо зажечь папиросу, он не выпускает телефонную трубку: а вдруг вот сейчас скажет об этом? Зажимает спичечную коробку между колен и чиркает спичкой.

Но нет, ручей бежит по проторенному руслу. Вечер у Полторацких проходит во всех подробностях.

— ...Вы, вероятно, надеялись на то, что я этого не замечу! Когда вы Константину Ивановичу передавали кильки, а он, вероятно, понимая, что творится в моей душе, сделал вид, что...

Реутов крутит головой. «Нет, это страшно! Какие-то кильки!» А голубцы, конечно, уже готовы и теперь подгорают...

Он, чуть отведя трубку, оборачивается и говорит громко:

— Входите, Семен Палыч! Раздевайтесь!

Ручей останавливает свой бег.

— Нет-нет, Надежда Сергеевна, это я не вам. Это ко мне с завода пришли... Присаживайтесь, Семен Палыч! — И чтобы своим словам придать естественность, Реутов делает рукой широкий жест, будто показывает гостю на стул. — Минуточку... Надежда Сергеевна, я должен извиниться перед вами... Я вам позвоню. Да, после позвоню и отвечу по всем пунктам. Уверю вас, что очень многое преувеличено... Ну, желаю...

Реутов вносит из кухни в комнату суп и приступает к обеду. Горячее чуть пьянит его. Он поднимает глаза на черный диск громкоговорителя... Да, вот жаль, что сам не слышал! Над столом — пар, по телу теплота — прекрасно! «А закрыл ли газ на плите?» Идет в кухню — издали видно: закрыл. Возвращается к супу. «А плотно ли?» Нет, вот, когда доест суп, посмотрит. А газ в это время, может быть, уже течет. Ну и пусть течет!.. Но ведь все равно надо идти за голубцами.

И когда приходит эта мысль-лазейка, Реутов направляется в кухню не спеша, спокойно — будто ничего и нет.

Телефонный звонок раздается, как только Реутов ставит сковородку на стол.

— Алексей Федорович! — кричит Миша с Варшавского шоссе. — Студень затвердел!..

— Ну брось!

— Ей-богу!.. Назаров сейчас из театра едет! Не утерпел!

— При какой температуре? — Реутов опускает локоть на ручку ложки, и она выплескивает суп на скатерть.

— Плюс восемь.

— Восемь? — На замоченной скатерти ноготь быстро, резко пишет восьмерку. — Это что же, Миша... Это прямо...

— Конечно! Я о том и говорю, Алексей Федорович! Мы тут, на радостях, платиновую лопаточку сломали...

— Что прибавлял?

Но его не слышат. Мишин голос неразборчиво доносится в стороне — он торопливо говорит кому-то.

— Миша-а! — кричит Реутов, будто тот может его так услышать.

Голос Миши приближается к трубке.

— Что прибавлял? — повторяет Реутов.

— Азотную.

— Сколько?

— Как вы и говорили: ноль четыре кубика.

Не выпуская трубки, Реутов полукругом, насколько позволяет провод, молча рассказывает около телефона.

— Ноль четыре... ноль четыре... Машина есть?

— Да вот послал... Вот сейчас...

Реутов удивлен. И от удивления голос получается недовольный.

— Почему же это?..

— Ну, догадался, Алексей Федорович! — Миша обижается. — Видите, догадался!

Положив трубку, Реутов подходит к столу. Не присаживаясь, подносит ложку с супом ко рту. Проглотив, стоит, не зная, что делать. Идет к дивану и сидит, поигрывая мокрой ложкой. «Нет, это замечательно! Нет, это здорово!» Пересаживается на кровать. В руках что-то пусто — ложка осталась на диване. Возвращается к ней. «Да ведь переодеться надо! — Он смотрит на свою пижаму. — Сейчас машина!» Но идет к столу, берет руками теплый голубец и, не сняв с него черную нитку, надкусывает. Нитка попадает между зубов, и теперь нельзя жевать и нельзя руку с голубцом отвести от рта. Беззвучно смеясь, он наклоняется над столом и обрывает нитку: голубец шлепается на тарелку. «Нет, это здорово? Черт, где же машина?» Чувствует, что нитка все же осталась во рту. «Ноль четыре... ноль четыре... Ну, а если ноль три? Еще лучше ноль три!.. Здорово!»

И тут он вспоминает, что вот недавно был несправедлив... Но в чем?.. Он осматривает комнату, ища эту несправедливость. И находит — телефон.

— Да, представьте, это я, Надежда Сергеевна!.. Ну ничего, ничего, постойте минутку в шубе и в ботах...



Концерт не уйдет!.. Я что хотел сказать? Я хотел сказать, что вас люблю... Вообще, вы нудная женщина, вы два часа вспоминаете о прошлогоднем снеге... как я повернулся, как я завернулся... но не в этом дело! Да нет, нет, подождите обижаться! Вы мне все равно нравитесь. И даже у Полторацких я вас любил. Ну вот, ей-богу! Вы красивая, добрая... Да нет, со мной ничего не случилось! Я, правда, вам это не говорил, но всегда думал, что вы... Ну хорошо, хорошо — идите на свой концерт... Позвоните мне... Вообще, чаще звоните!

Он стоит среди комнаты, улыбаясь, покачиваясь на ногах: с каблука — на носок, с носка — на каблук.

---

## ДЕВОЧКИ И КЛЮЧИ

**Э**та нехитрая история произошла на моих глазах. Я не мог в нее вмешаться, так как моя помощь только затянула бы дело. Мне оставалось лишь одно: издали смотреть на игру чужих интересов.

\* \* \*

В квартире в тот час было трое: Лиза — тринадцати лет, Туся — четырех лет и Ольга Михайловна — мать Туси.

Лизу вызвали к телефону в соседнюю квартиру. Это бывало очень редко, вызывала обычно мама со службы, но каждый раз Лизе хотелось, чтобы чей-то другой, совершенно незнакомый голос попросил: «А позовите-ка, пожалуйста, мне Лизу!» И Лиза к телефону всегда бежала опрометью.

И на этот раз звонила мама со службы. Но она сказала то, что было дороже, удивительнее всякого незнакомого голоса: из долгой экспедиции в Туркмению вернулся отец! Сейчас он звонил маме с вокзала, сейчас он едет домой, сейчас же надо затопить ванну, и сейчас же надо поставить разогревать обед...

Лиза бросилась к себе. Она примет отца сама! Сперва затопит ванну, а потом, за столом, будет все

время спрашивать: «Что же вы ничего не едите?..» Главное, чтобы мама не очень скоро пришла со службы, иначе все это достанется ей.

Лиза поспешила к себе, но дверь в их квартиру оказалась запертой. Лиза похлопала себя по кармашкам на платье. Да нет, ключа она не брала с собой, он в пальто на вешалке. Она постучала в дверь. Отозвалась четырехлетняя Туся. Замок был внутренний, трудный — Туся его не открывала.

— Тусенька! — Лиза мелко-мелко застучала в дверь. — Позови скорее свою маму! Дверь открыть!

— Мама ушла в магазин.

Вот те на! Ольга Михайловна или не знала, что Лиза побежала к телефону, или же решила, что Лиза взяла с собой ключ. Как же теперь ванна и обед?!.. Лиза представила, как отец поднимается по лестнице, стучит в дверь, дверь распахивается... Нет, ничего не распахивается — сама Лиза стоит у дверей, не зная, как войти...

Она нагнулась и посмотрела в замочную скважину. В коридоре, освещенном светом балконного окна, стояла Туся с весело-удивленными глазами.

— Ты на меня смотришь? — спросила она, видимо заметя, что замочная скважина чем-то закрылась.

— Туся! — строго сказала Лиза, поднося губы к скважине. — Возьми у меня из кармана пальто ключ и открой дверь.

— Нет, давай теперь я на тебя посмотрю, — сказала Туся, приближаясь к замку.

— Я тебе говорю: возьми ключ! Мне некогда!..

— Нет, давай я на тебя посмотрю! Ишь какая! Сама на меня смотрела!..

Около замка послышалось сопение, — видимо, Туся тянулась к отверстию.

— Я ничего не смотрю, — сказала она. — Ты отойди подальше.

Лиза отошла.

— Я смотрю твой живот, — сказала Туся, — ты отойди подальше еще.

Лиза поняла, что она во власти Туси и что ее нельзя сердить. Она отошла.

— Вот теперь я тебя смотрю всю с ножками,— счастливым голосом сказала Туся.— А ты чего-нибудь сделай.

— Чего... сделай! — Голос у Лизы срывался от возмущения.

Слышно было, как за дверью, у замка, сопит Туся, придумывая свое желание. Из замочной скважины струился на прохладную лестницу пар ее дыхания.

— Ну что-нибудь сдела-ай! — тянула Туся, не зная, что попросить. И вдруг из скважины вырвался пар.— Потопай ножкой! — выкрикнула Туся.

— Нет, это что же!.. Нет, это просто невозможно!..

Лиза, шипя и задыхаясь, подбежала к двери и нагнулась над отверстием в замке.

— Сейчас же, дрянь, возьми ключ!.. Ключ у меня в пальто. И открой дверь!

Было слышно, как Туся побежала по коридору. Лиза выпрямилась и стала ждать. Внизу хлопнула входная дверь: уж не папа ли?.. Но нет, это кто-то вошел в квартиру первого этажа. Снова рассыпчатый шум от Тусиных ног. В замок, звеня, стал протискиваться ключ. Он вылез насквозь, и бородака его стала крутиться у Лизы перед глазами. Лиза узнала ключ и услышала как бы звон колокольчика.

— Туся! Зачем ты взяла связку ключей из шкафа!.. Я тебе говорю: из моего пальто!.. Большой ключ. Там в кармане:..

— А я хочу этими ключиками...— Туся еще раз покрутила ключом и вытащила его обратно.— Тут много-много ключиков,— сказала она,— какой-нибудь нам пригодится.

— Брось сейчас же! — крикнула Лиза.— Возьми ключ из пальто!..

Но из замочной скважины уже вылезал, бородакой вперед, тонкий ключ. Лиза узнала его: это от нижнего ящика комода... Нет, это ужасно! Когда же это кончится!.. Сжимая губы в ниточку, Лиза пальцем нажала на ключ и с силой пропихнула его обратно.

— Если ты, дрянь, сейчас же не откроешь,— Лиза кричала уже громко на всю лестницу,— то я тебя отшлепаю!

Она заглянула в отверстие замка. Туся, гремя связкой ключей, отбежала от двери и сейчас стояла в коридоре, пристально и испуганно смотря на замок. Вдруг она хитро улыбнулась и, подпрыгивая, подбежала к двери, приложила рот к замочной дырочке.

— Нет, ты не можешь, ты не можешь мне наплевать! — весело затараторила она, щекоча теплым дыханием Лизин глаз. — Дверь заперта, заперта!..

Лиза выпрямилась и, безнадежно опустив руки, прислонилась к косяку двери... Сейчас придет отец... Но она не виновата!.. Она бросится к нему и заплачет... И, представив это, она почувствовала, как подступают слезы. Она так долго молчала, что Туся из-за двери спросила:

— Лиза, ты тут?

Может быть, это поможет! Лиза затаила дыхание и тихо отодвинулась от замочной дырочки. Сейчас Туся откроет дверь и посмотрит, где она...

— Лиза, ты тут?.. Лиза, ты тут?.. — Голос Туси дрожал. — Лиза, где ты? Мне страшно!..

«Ну вот еще, дрянь, расплачется!» — подумала Лиза.

— Я тут! — ответила она вялым, злым голосом, утирая слезы.

— Почему же ты со мной не играешь больше?

Лиза решила пойти на прямой обман. Она вдруг нетерпеливо затопала ногами и застучала в дверь.

— Туся! Твоя мама идет с мороженым! Скорей открывай! Возьми у меня в пальто на вешалке ключ!.. Скорее, а то мороженое растает!..

За дверью послышался радостный вскрик, топот маленьких ног. Затем длинный однообразный шум чего-тодвигаемого. Лиза заглянула в замок: Туся из комнаты волочила стул, чтобы, встав на него, достать карман Лизиного пальто...

Наконец в замочной скважине показался ключ. Лиза обрадовалась ему как родному. Это был прочный, толстый ключ, который заполнил собой все отверстие замка. Видно было, что пришел настоящий хозяин. Но Туся рассудила иначе.

— Этот ключ не подходит,— сказала она,— он не хочет крутиться!

Лиза поняла, что у Туси не хватает сил его повернуть и она может его вот-вот вынуть. И тогда опять все сначала...

— Тусенька, деточка! — заговорила она вдруг ласково, желая только одного, чтобы толстый ключ не ушел с ее глаз.— Возьми в кухне вилку и продень ее в колечко ключа и поверни... Понимаешь — поверни!.. Тогда тебе легко будет ключик повернуть.

И все же не уследила! Туся сбегала за вилкой, и когда Лиза, заслышав металлическое постукивание у замка, снова нагнулась к скважине, то ключа — толстого, родного — уже не было. В пустое отверстие безуспешно лезли три острых кончика вилки.

— Вилка тоже не хочется крутиться! — тяжело дыша, сказала Туся.

...Дверь была открыта Ольгой Михайловной, матерью Туси. Она, оказывается, ходила недалеко, в булочную.

— Ты почему не открывала Лизе дверь? — строго спросила она дочь.

— А мы нарочно... Мы играли,— ответила Туся.— А где мороженое?

— Про мороженое, Туся, я нарочно,— сказала Лиза, пробегая с мохнатым полотенцем для ванны.— Мы ведь играли!

— Про мороженое нельзя наро-ош-но! — Нижняя губка у Туси стала дрожать и кривиться в сторону.

## СОДЕРЖАНИЕ

### *ПОВЕСТИ*

Два долгих дня . . . . .	7
Промелькнувшие годы . . . . .	101

### *РАССКАЗЫ*

День жизни . . . . .	131
Дед-мороз . . . . .	141
Встреча с молодостью . . . . .	150
Наследство . . . . .	159
Первый дождь . . . . .	167
Дальняя дорога . . . . .	173
Помощник режиссера . . . . .	181
Усталый день . . . . .	189
Девочки и ключи . . . . .	197

*Москвин Николай Яковлевич*  
ДВА ДОЛГИХ ДНЯ

\*

Редактор *Г. А. Орлова*  
Художник *Ю. Ф. Алексеева*  
Худож. редактор *Е. Ф. Капустин*  
Техн. редактор *Р. Я. Соколова*  
Корректоры *В. П. Назимова*  
и *В. Н. Стаханова*

Сдано в набор 12/VIII-1960 г. Подписано  
к печати 11/I-1961 г. А 00922. Бумага  
84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Печ. л. 6<sup>3</sup>/<sub>8</sub> (10,45). Уч.-изд. л. 9,35.  
Тираж 30 000 экз. Заказ № 1073. Цена 38 к.

\*

Издательство «Советский писатель»,  
Москва К-9, Б. Гнезниковский пер., 10

Полиграфкомбинат им. Якуба Коласа  
Главиздата Министерства культуры БССР,  
Минск, Красная, 23.

Scan, DJVU: Tiger, 2012



*Издательство просит читателя дать отзыв  
как о содержании книги, так и об оформлении ее,  
указав свой точный адрес, профессию и возраст.  
Библиотечных работников издательство просит  
организовать учет спроса на книгу  
и сбор читательских отзывов.  
Все материалы направлять по адресу:*

*Москва К-9, Б. Гнезниковский пер., 10,  
издательство «Советский писатель».*

38 K.